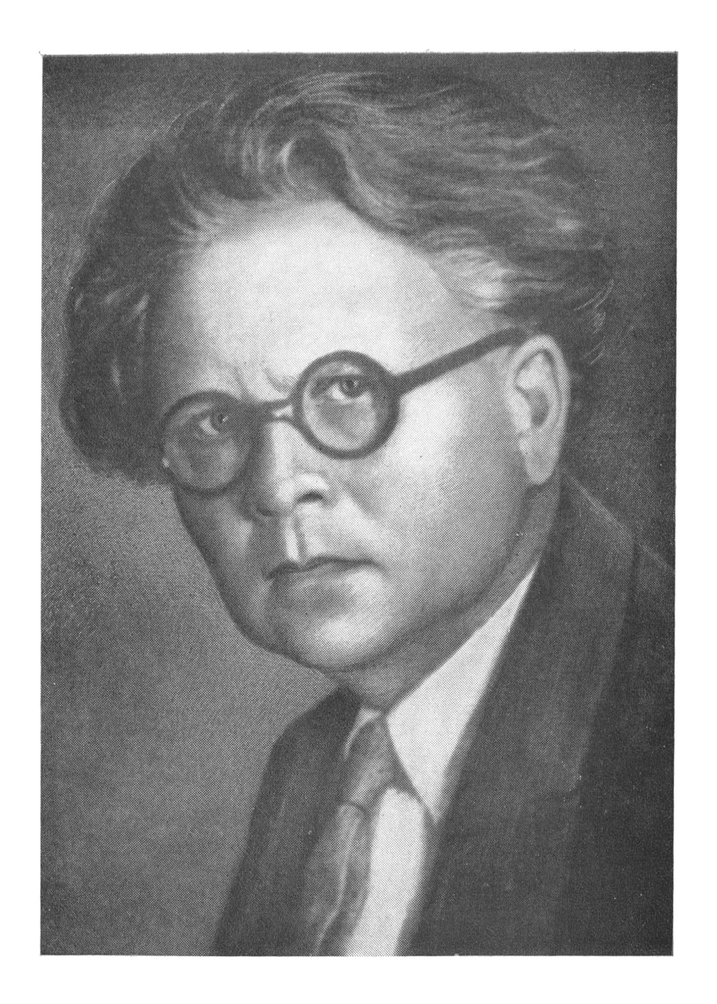
Человек труда

ФЕДОР ГЛАДКОВ

ЦЕМЕНТ • КЛЯТВА



ФЕДОР ГЛАДКОВ

ЦЕМЕНТ • КЛЯТВА

ЛЕНИЗДАТ
1976

Гладков Ф.

Г52 Цемент. Клятва. Л., Лениздат, 1976.

384 с., порт. (Серия — «Человек труда»)

Книга объединяет известный роман Ф. В. Гладкова «Цемент» (1922—1924) и повесть «Клятва» (1944). Издание сопровождается статьей кандидата филологических наук В. М. Акимова.

Г $\frac{70802-188}{М171(03)-75}$ 151—76

КЛЯТВА

ПОВЕСТЬ

1

Утром я встаю при первых возгласах диктора. Это — мой будильник. Удивительно, что я чувствую этот призыв до того как он раздается в репродукторе: я как бы ощущаю внезапный внутренний толчок, спохватываюсь и выныриваю из сонного небытия. При звуках марша я вскакиваю с постели и быстро одеваюсь. За окном — тьма, как в полночь, и только над крышей противоположного дома дрожит далекое фосфорическое зарево — огни на заводе. Я зажигаю электричество, и комната моя в девять квадратных метров кажется мне уютной, как постель. Я перевожу радио на «тихо», чтобы музыка не будила соседей, вставляю в штепсель вилку электрочайника, налитого водою еще с вечера, и иду умываться. Вытираясь полотенцем на ходу, я вижу в зеркальце на стене сухощавое лицо, твердый прямой нос с резкой морщинкой у переносья, впавшие щеки.

Над маленьким столиком, покрытым газетой, пришпилены фотографии моей Лизы с Лавриком на руках, брата Игнатия в летном костюме у пропеллера самолета и старика отца с матерью. Мать — в косынке, сидит маленькая, сморщенная, а отец стоит около нее большой, неуклюжий, с седыми усами, опущенными на подбородок. У него горбатый нос и выпуклые властные глаза. Да, у моего старика здесь, на портрете, очень удачно схвачен суровый и упрямый характер. У старых превосходных мастеров с боевой биографией в характере есть всегда этакая злинка и жесткая убежденность.

Сплю я на складной походной койке. Ее положила мне на грузовик Лиза. В хлопотах я даже прикрикнул на нее:

— На кой черт мне это барахло, Лиза?!

Но она как будто не слышала моего окрика, улыбнулась сквозь слезы, и около ее рта вдруг задрожали морщинки:

— Может быть, мы расстаемся навсегда, Коля... Что будет с Ленинградом? Прощай, родной!..

И когда я увидел эти морщинки, сердце мое так больно сжалось, что я прижал ее к своей груди и долго целовал ее белокурые волосы. Этот момент я не забуду никогда...

И вот здесь, на Урале, я вместе с своим заводом живу уже полгода и мучительно переживаю свою оторванность от прошлого. Тоскую о том, что я не там — не вместе с Игнашей и моей Лизой на передовой линии, что я не сражаюсь, как простой солдат. Я постоянно внушаю себе, что я и отсюда пробиваю блокаду Ленинграда. От нашей работы зависит число орудий и боевых машин. Я делаю их в пять, в десять раз больше, а сегодня-завтра я оснащу свой станок так, что буду давать оружия в двадцать, в тридцать раз больше... в пятьдесят, в сто, черт возьми!..

За чаем я перечитываю (в который уже раз!) последнее письмо Лизы. Эта короткая беседа с ней для меня необходима. Я слышу ее милый голос, и она улыбается мне сквозь слезы.

«Родной мой! Прежде всего прошу не беспокоиться за нас: я работаю с утра до ночи на заводе. Лаврик — у бабушки. Ты не узнаешь его: он стал совсем взрослым. Бомбежка и разрывы снарядов уже не вызывают в нем ужаса. Он не бросается, как прежде, на пол, не распластывается, не замирает, а спокойно говорит бабушке: «Фугаска на Лиговке» или: «Фашисты долбят наш район. Пойду, погляжу, как дядя Игнаша будет клевать немецких стервятников». А когда бабушка говорит ему: «И не выдумывай, Лаврушка! Сейчас же одевайся и пойдем в убежище!» — он отвечает убежденно: «Ерунда убежище; оно не влияет». Вот забавный мальчоныш!

Немножко ослабела, родной. Приходится, как ты знаешь, делать огромные концы — два раза в сутки туда и обратно. Ведь трамваи не ходят. Мы — в блокаде: в этом — всё. Со снабжением — ужасно. У меня часто кружится голова и дрожат ноги и руки. А наш старик стал совсем страшный. Но он упорно продолжает ходить на завод: от бюллетеня отказался. «Я, говорит, еще не

обезножел, голова на плечах, а моя квалификация сейчас нужнее фронту, чем моя жизнь. Старости, говорит, в эти страдные дни не существует».

Как тяжело, родной, проходить по улицам нашего Ленинграда! Каждый день я вижу, как падают люди, но на них никто уже не обращает внимания. На днях я видела, как одна интеллигентная женщина везла на салазках старика. Он лежал странно — положенный кое-как: ноги — впереди, голова — назади. А женщина окаменела, спотыкается и не интересуется стариком. Он был живой, потому что силился приподнять голову, но не мог, ловил что-то в воздухе руками, но они сразу же падали и ползли по снегу. Одна щека была содрана.

Пишу тебе это письмо дома: только что пришла с работы. Раннее утро, темно. Зажгла лучину и неудержимо захотелось поговорить с тобой. Тяжело нам, милый, очень тяжело.

Но мне совсем не страшно, точно все, что пережито,— не настоящее: и гром разрывов, и вой самолетов — где-то вне жизни, как во сне или в бреду, и мгновенно забывается. У меня сейчас нет воды, а хочется выпить кипятку, чтобы согреться. В комнате все как будто покрыто инеем, мне кажется, что я неизбежно замерзну: лягу и больше не встану. Надо идти на Неву за водою. Одно приятно согревает: Лаврик — у бабушки, там — тепло: они разбирают заборы, деревянные сарайчики и топят железную печку. А я ломаю стулья, столики, гардероб и топлю плиту в кухне, а потом ложусь на нее.

И еще греет меня огонь любви к тебе и обливает ярким светом счастья. И ради этого счастья и чудесной нашей жизни, которую мы создавали, мы выдержим все чудовищные муки и будем бороться до конца беспощадно».

Я прячу письмо в карман пиджака, быстро одеваюсь, выхожу в прихожую. Кухня освещена, и Аграфена Захаровна — жена хозяина квартиры, сталевара здешнего завода Тихона Васильевича Работкина — хорошая кроткая женщина, смущенно стирает пальцами улыбку с губ и удивленно вскрикивает:

— Что же это вы, Николай Прокофьевич, так рано сорвались-то? Ведь до смены-то еще добренький час.

— До зарезу надо, Аграфена Захаровна. Возможно, что я совсем не приду сегодня.

— Время-то какое! Кажется, никогда так люди не работали... Будто и в самой земле — гроза... Вот и мой Тихон Васильич ввалился в три часа ночи, ткнулся в подушку — и как умер... А сейчас кряхтит: тоже собирается на завод. Сердце дрожит: как бы не свалился...

— Не беспокойтесь, Аграфена Захаровна, не свалится; он одержимый. Мы все сейчас — солдаты, все — на войне: себя не узнаешь...

Тихон Васильевич глухо рычит из-за двери:

— Коля! Тринадцать тонн снял. Мозги кипят и сон дымом.

Ему — сорок пять лет. У него — обожженное лицо и налитые кровью белки. Кажется, что он постоянно отравлен. Но ходит крепко, широко, с развальцей, как силач. Пристально, не отрываясь, смотрит не в лицо человека, а куда-то через его плечо и усмехается, себе на уме.

— Кировцы желают со мной драться,— добродушно объявляет он.— Пущай! Подраться и я не прочь. Люблю подраться, когда людей забирает: на душе веселей...

Я выхожу на улицу. До завода идти недалеко. Наш поселок — это целый город с широкими улицами, с многоэтажными домами, с трамваем, с бульварами и цветниками на площадях. Завод виден в конце нашей улицы — за площадью: над бульваром поднимаются цилиндрические стеклянные крыши цехов, трубы, градирни в облаках пара, огромные кирпичные корпуса, строительные леса и бетонолитные вышки. Там еще ослепительно лучатся электрические огни. Утро туманится нерастаявшей ночью. Снег на крышах и на мостовой синий, а небо как будто пушится инеем, и на западной половине еще мерцают рыжие звезды. На востоке — ярко-зеленая ясность. Торопятся к распределителям женщины с кошелками, и сухой снег скрипит под ногами. Далеко позади, позванивая, глухо грохочет трамвай,— первые вагоны несутся из далекого города. За высокой оградой, на той стороне улицы, густо толпятся стволы сосен. Их вершины сплошным бархатом хвои сплетаются в тугую тьму. Со стороны завода доносятся шум и шелест, точно ветер гуляет в этом сосновом парке. Звезды еще ярко распылены над Ленинградом, и немецкие пушки расстреливают их. Там — черный мрак, и этот мрак потрясают взрывы снарядов. Гул разрывов раскатывается по пустынному городу громовыми

волнами, как стон великого страдания. Могу ли я хоть минуту пользоваться радостью спокойного отдыха? Нет. Я должен в тысячу раз сильнее напрячь свою энергию, чтобы мстить врагу за муки людей, которые изнемогают в осажденном врагом городе. Лиза, сынишка, отец, мать сливаются в моем сознании со всеми людьми моей страны в один образ бесконечно милого, родного человека.

На заводском дворе между корпусами и в переулках пустынно. Только вдали, на площадке, толпятся в морозном тумане серо-голубые самолеты с распластанными крыльями. Все они стоят как будто на дыбышках, живые, нетерпеливые, готовые к полету. Направо, из ворот длиннейшего корпуса, с грохотом и лязгом, покачиваясь, выползают на гусеницах танки. Из башни угрожающе высовывается орудие. Оно, как длинная рука, указывает вперед, и кажется, что вот-вот выстрелит. На броне сидят и стоят несколько рабочих и красноармейцев, кричат и смеются.

Мой цех — далеко, за зданием заводоуправления. Снег на дороге вспахан, дорога в колдобинах, а на штабелях деталей эвакуированных машин и на кучах всякого заводского хлама снег лежит плисовыми сугробами, покрытыми сажей и окалиной.

У станка я работаю уже восемнадцать лет, то есть половину своей жизни. Не отрываясь от завода, я окончил рабфак и посещал лекции в Институте литературы и языка. Пробовал писать стихи и рассказы, но ничего у меня не вышло. Впрочем, рефераты и доклады на литературные темы читал неплохо. С ранних лет я охвачен страстью к книге, и эта страсть будет гореть во мне до конца моих дней. Но прежде всего я мастер оружия, воин оборонного труда. Я люблю свой станок, люблю делать вещи прекрасно — так, чтобы они играли, радовались, жили в моих руках, как произведения искусства. Иногда я испытывал подлинное волнение, когда брал в руки сделанную мною деталь и любовался ее формой и блеском лучей. Для меня нет высшего наслаждения, как сознание, что эта созданная мною вещь не просто металл, механически обработанный фрезерами, а часть моей души — мое вдохновение, моя любовь, мои искания. Старые мастера — мои соперники — должны были признать, что «перекрыть» меня, как они выражаются, трудно. Я до сих пор пользуюсь славой лучшего фрезеровщика. Мои детали принимаются без

проверки. Но теперь, в дни войны, когда боевая техника в руках искусного воина решает все, я обязан, кроме прекрасной обработки, дать деталей в десять, в двадцать раз больше. Одним увеличением числа оборотов станка не достигнешь цели. Нужно было вводить различные новые приспособления, чтобы заставить его вырабатывать одновременно по нескольку деталей и производить одновременно несколько операций. Вот почему я занят каждый день, каждый час одной мыслью — усовершенствовать станок, заставить фрезеры работать так, чтобы механизм подчинялся малейшему движению, даже неощутимому прикосновению моей руки. И я достиг многого за эти месяцы.

С тех пор как наш завод был эвакуирован на восток, я ни на одну минуту не прерывал своих исканий, а здесь, даже во время монтажа, ломал голову над тем, как бы превратить станок в полуавтомат, чтобы на нем могли работать даже неквалифицированные рабочие, вплоть до подростков, и выпускать продукцию в тысячах процентов. Эта работа над станком и постепенное его оснащение как будто приближали меня к Ленинграду, к передовой линии фронта, к Лизе, к Игнаше... Ведь и я был военным человеком: в войне с белофиннами я дрался как танкист и был награжден орденом Красного Знамени. Но меня, как лучшего фрезеровщика, отправили с заводским оборудованием на Урал. Мне приказали:

— Сопровождай завод. Восстанавливай его как можно быстрее. Армии ты там нужен не меньше, чем здесь. Делай оружие.

И я поехал. Наш эшелон шел до этого старинного уральского города три недели. Директор с главным инженером улетели на самолете в день нашего отъезда, чтобы подготовить площадку, транспорт и выгрузку оборудования, чтобы обеспечить жилье для людей. Некоторые инженеры и рабочие ехали с семьями. Было тепло, но по ночам мы дрожали в пальто. Стояли на редкость прозрачные дни. Небо было бархатно-синее, а поля плыли мимо нас оранжевые, точно в огне. Они волновались на солнце, охваченные пламенем. И ясные дали рисовались так отчетливо, что на крышах изб виднелась каждая соломинка. Над грустными перелесками носились густые стаи галок, и эти беспокойные стаи то вспыхивали черным роем, то таяли в небе.

Ехали мы с болью в душе, с злобным нетерпением работать. Если бы можно было пустить станки на платформах, мы, не задумываясь, с бурной радостью принялись бы каждый за свое дело.

Сутками стояли мы на забитых эшелонами станциях и не знали, куда деться от тоски. В первые дни над нами постоянно носились вражеские самолеты и сбрасывали бомбы. Но эти налеты были какие-то трусливые: самолеты держались очень высоко. В них стреляли из зениток, и они улетали. Впрочем, раза два бомбы попадали в станционные деревни. Вспыхивали пожары. Мы отцепляли друг от друга наши вагоны и откатывали их подальше.

Рабочие и инженеры с семьями помещались в теплушках. Жена технолога Пети Полынцева, моего друга, не отпускала от себя мужа, и я видел, как, безучастный ко всему, он бродил вдоль вагона или водил гулять по лугу свою Верочку, хорошенькую щебетунью. Верочка прыгала и звонко кричала, тогда он будто оживал: лицо его светлело, он улыбался, хватал ее на руки и бегал с нею по траве. Жена — Наташа, подруга моей Лизы,— не отходила от своего вагона и, когда видела Петю с дочкой далеко на лугу, истерически звала их обратно. Несколько раз я пытался увести его куда-нибудь в поле или побродить по станционной платформе, но он оглядывался назад и настороженно прислушивался, не зовет ли его Наташа. Меня это раздражало: черт его возьми, жена и дочка рядом с ним, а у меня остались в осажденном городе... Он забыл даже свои обязанности по отношению к нам, своим товарищам, и к ценнейшему оборудованию, которое нам доверили...

— Я не узнаю тебя, Петя,— сказал как-то я ему хмуро.— Понимаю: жена, дочка... постоянное беспокойство... но почему ты ни разу не прошел по вагонным площадкам и не проверил, всё ли в порядке? Это — твой долг.

Он вздрогнул, и лицо его исказилось.

— Не хотел бы я, Коля, выслушивать от тебя такие упреки...— сказал он глухо.— Ты думаешь, я не знаю?.. Но надо же считаться с больной женщиной. Ее психически контузило. Я был на заводе. А тут — бомбежка... Помнишь, какая была дикая бомбежка... Какой-то дурак сказал, что завод разнесло вдребезги и много погибло людей. Она прибежала, как безумная. И вот с тех

пор... Одним словом, никак не могу привести ее в чувство. Ужасно!

Петя, всегда добродушно насмешливый, с лукавой искоркой в глазах, сейчас был какой-то надорванный. Он замолчал, и я видел, что он страдал от обиды: ему было тяжело, что я, его друг, связанный с ним с самого детства, не понимаю, не чувствую его. И я раскаялся, что заговорил с ним так сурово. Он нуждался в помощи, в дружеской поддержке. Я начал успокаивать его, но он махнул рукой и ушел от меня.

На другой день, когда мы стояли на какой-то узловой станции и с минуты на минуту ждали отправки, внезапно разразилась катастрофа. Раздалась тревога, толпы людей бросились к вагонам, из теплушек выскакивали женщины, дети, старики и бежали через пути в поле, чтобы спрятаться в ямах, в кустарниках, в ближайшем молодом лесочке. Я видел, как Петя нес на одной руке Верочку, а другой вел Наташу. Она шла как-то странно, с помертвевшим лицом. Потом он бежал вдоль поезда и вместе с нами откатывал вагоны. В пылу работы мы не заметили, как налетели немецкие самолеты. Очухались мы от потрясающего взрыва бомбы на путях среди разбросанных вагонов. Горячая воздушная волна ударила меня в спину и затылок, и я свалился на землю, но сейчас же вскочил и увидел вдали вихрь пыли и дыма. Обломки пустых вагонов лежали на земле, и загнутая кверху рельса дрожала, как пружина. Я старался хладнокровно расставить людей вдоль вагонов, чтобы откатить их как можно дальше один от другого. Бомбы взрывались, но где-то в стороне от путей. Потом затрещали пулеметы, где-то рыдали, кричали, стонали женщины. Я пробежал мимо наших вагонов, увидел бледных товарищей, которые толкали платформы как-то особенно старательно,— вероятно, чтобы подавить страх.

В разных местах, далеко за вагонами, поднимались клубы дыма. На траве и в выемках лежали женщины и дети, вдали бежали в лесок несколько человек.

И вдруг я чуть не упал от потрясения — у меня помутилось в глазах. Внизу, под насыпью, на траве стояла на коленях Наташа, рвала на себе волосы, выла и хохотала. Около нее, переступая с ноги на ногу, покачивался Петя с Верочкой на руках и как будто убаюкивал ее. Его лицо застыло в мертвом спокойствии, только глаза прыгали, как у оглушенного ударом. Он топтался около

Наташи и смотрел куда-то в пространство как слепой, и укачивал окровавленное тельце девочки. Кровь струилась у него по пиджаку и по брюкам.

К нему сбегались рабочие, женщины, кто-то из мужчин кричал надорванным голосом:

— Смотрите, смотрите!.. И там, и там лежат... Боже мой!..

Я подбежал к Пете и что-то кричал, хлопотал около него, но что было дальше — угасло в памяти. Помню только похороны убитых, помню, как я перебрался в вагон к Пете. Наташа не приходила в себя и по нескольку раз в день билась в припадках буйного исступления. Мы боролись с нею и изнемогали от бессилия. Нам помогали и мужчины и женщины, и они уставали: Наташа билась в наших руках с невероятной силой. В первый же день приезда в этот город ее поместили в психиатрическую лечебницу.

2

Я вхожу в цех. Он залит электричеством. Всюду — и внизу, между станками, и вверху, среди перекрытий,— частые созвездия пронзительно лучистых огней. В бесконечных пространствах корпуса — голубой дым. Ослепительно вспыхивают в разных местах зеленые молнии. Всюду гул. От сердцебиения станков и двигателей земля под ногами дрожит и дышит.

Как всегда, я сразу ощущаю связь со своим станком. Я вижу его издали, и он приветствует меня, как живой, своим сиянием, глянцем и какой-то особой теплотой. Мне чудится, что в нем с давних пор живет мой дух — мой характер и душевное беспокойство. Какое-то суеверное чувство тревожит меня, когда встречаю его после разлуки: если бы я вдруг забыл о нем, если бы на час погасло во мне его дыхание, он отомстил бы мне — или перестал бы работать или искалечил бы меня. Более тонко не могу сейчас выразить свое ощущение.

Петя встречает меня в цеху, как обычно, бодрый, чисто выбритый, бледный, утомленный бессонницей. В глазах его — затаенное страдание и неостывающий жарок. Мне кажется, что дома, у себя в комнате, один со своими мыслями он мечется, как зверь в клетке. Нужна большая сила духа, чтобы владеть собою, рабо-

тать спокойно, вдумчиво, внимательно и решать методически и кропотливо большие и маленькие вопросы технологии производства. К нему поступает множество всяких предложений от рабочих, и с каждым из них он говорит серьезно, обстоятельно, дружески, просто. Предложения бывают полезные и ценные, а иногда нелепые, но он с одинаковой внимательностью рассматривает и те и другие. Хотя на деле он и доказывает человеку бедность его мысли и технологическую малограмотность, но всегда ободряет его, поднимает в нем дух и веру в свои силы.

— Мне не важно сейчас,— говорил он,— какова ценность предложения, важно беспокойство человека... Раз он заволновался, значит, будет расти...

Его строгое спокойствие кажется со стороны холодной деловитостью. В нем никто не нашел бы никаких внешних перемен, но я-то хорошо видел, что происходило у него в душе. Его жгла одна мысль, одна жажда — мстить. Гибель Верочки, безумие Наташи — это его личная трагедия, но она неотделима от страданий миллионов людей, от моих страданий. И мы без слов понимали и чувствовали друг друга. Мы оба работали с одинаковой страстью. Но эта страсть выражалась у нас по-разному: он как-то угрожающе замолчал и ушел в себя, а я горел, волновался и часто не мог управлять собою.

Как всегда, Петя берет меня под руку и ведет по широкому проходу в дымную, грохочущую даль, где вспыхивают молнии. Разумеется, он направляется ко мне в инструментальную мастерскую.

— Ну, показывай! — говорит он как будто равнодушно.— Хочу сам убедиться, как выражается в действии универсальность станка. Сегодня оснащать станок не советую. На вахту станешь после пересменки. Надо отдохнуть и приготовиться.

— Я уж проверял, Петя, не один раз. Пятнадцать норм верных.

Он — в курсе дела. Приспособление, над которым я ломал голову много дней, общие и детальные чертежики, конструкция, которая наконец доведена до экономной и четкой простоты,— все это потребовало огромной затраты сил. И когда я почувствовал, что мысль додумана до конца и влита в вещественную форму, я в короткий миг пережил блаженство освобождения: точно я вынырнул откуда-то из тягостной глубины, полной грудью

вдохнул свежий воздух и увидел синеву неба. И я впервые понял, что простота — самая трудная вещь и что нет более сложных путей, чем искание этой простоты. Она кажется обидной после всех мытарств. Посмотришь на чертеж и усмехнешься: что же ты возился столько времени, сжигал свой мозг, когда эта штука так же проста, как сковородник?

— На моем месте ты сделал бы все с максимальной экономией сил, Петя,— говорю я ему по дороге в мастерскую.— Если бы не твоя помощь, я корпел бы черт знает сколько времени и измотал бы себя. Скверно и невыгодно быть дилетантом.

Он смотрит на меня с проникновенной насмешкой друга, который видит насквозь. Потом с сердитой теплотой в голосе обличает:

— Однако, кроме тебя, никто еще не добился и не осуществил такого приспособления. Не сделал этого и я, как видишь, хотя я не только технолог, но и конструктор. Не притворяйся и не кокетничай передо мной. Ведь сам же ты видишь, что дело — в идее, в озарении, а не в исполнении. Надо твердо верить, что ты даешь и будешь давать заводу то, чего не дают другие.

Петя — потомственный ленинградец. Он родился и вырос в рабочей семье. Наши отцы — старые товарищи, которые вместе боролись во всех трех революциях. Его старик не один раз сидел в царских тюрьмах и в пятнадцатом году сослан был на Лену. В Октябрьскую революцию был ранен при взятии Зимнего дворца, дрался на восточном фронте и был полковым комиссаром. Нам, ребятам, он охотно рассказывал о своих бесчисленных приключениях, и мы слушали его, затаив дыхание. Если бы застенографировать все его рассказы, получилась бы поучительная и захватывающая книга! Он близко знал Ленина, и в его рассказах он рисовался мне и богатырем, и очень близким, очень простым человеком, сердечно горячим, таким же молодым, как мы с Петром. Это была на редкость дружная семья. Кроме Петра было еще трое ребят. Младшему из них, двенадцатилетнему Гришке, больше всего нравилось крутиться около нас, зрелых комсомольцев. Жили мы во весь размах — бурно, шумно: и оглушительно спорили, и танцевали, и устраивали шахматные турниры, и занимались спортом — футболом, лодочными гонками на Неве. И мне особенно было по душе, что

отец Петра, как молодой, принимал самое живое участие в наших делах. Я приходил в восторг, когда он, возвращаясь с завода, кричал:

— А ну-ка, ребята, готовьтесь к волейболу! Вываливай на двор!..

Мы с Петром были уже на рабфаке. Он выбрал себе институт машиностроения, а я стремился на завод к фрезерному станку. Мой выбор осчастливил отца: он был фанатиком заводского труда и к тяге молодежи во втузы относился с угрюмо-пуританским недоверием.

— Избалуются,— ворчал он, посматривая на меня колючими глазами из-под лохмато-серых бровей.— Избалуются, разболтаются...

Заводской труд меня очень привлекал, и я нетерпеливо ждал выпускных экзаменов. Самым большим удовольствием для меня было блуждать по заводским цехам. Многие часы проводил я около станков и, как завороженный, следил за красивой работой фрезерных машин. Они казались мне волшебными. Ко мне привыкли, у меня появились друзья, и я часто сам становился к станку. Кое-кому из парней было интересно возиться со мной, как с понятливым и любознательным учеником, я был там своим человеком, а станок уже слушался моих рук.

Петя возмутился: как это можно бросать ученье на полпути? Самый гнусный недостаток у людей — это не доводить дела до конца. Недоучка — это не человек, а дробь человека.

Он оттаял немножко, когда я поклялся ему, что буду глотать знания, не отрываясь от производства. Но потом, когда я заявил ему после окончания рабфака, что решил постигнуть литературные науки, он растерялся от изумления.

— Ты с ума сошел, Колька. У тебя какой-то кавардак в голове.

Но это еще больше укрепило нашу дружбу, а ведь самая задушевная дружба — это буйная дружба юности.

...В инструментальной мастерской я начал работать как слесарь над деталями приспособления для своего станка. Никогда, кажется, я не переживал такого волнения, как в первый короткий час. И потом весь день до вечера я не мог успокоить свое сердце. Я не хочу описы-

вать здесь конструкции приспособления. Мои чертежи останутся в архиве заводоуправления, а мои мысли и удары сердца угасают вместе с прожитым днем. Я хочу писать повесть своей души...

Этот год был самым трагическим в моей жизни, страшный путь человеческих страданий и борьбы.

Мне кажется, что жить и работать в тылу — несравненно труднее, чем быть на фронте. Ненависть к врагу требует битвы с ним лицом к лицу. Расстояние в тысячи километров терзает душу тишиной неба и суровой трезвостью труда. Чтобы преодолеть эту отдаленность, недостаточно одного напряжения. Надо обладать острым чувством видения и страстью бойца, сердце которого кровоточит гневом...

3

Перед тем как мне нужно было стать на трудовую вахту, в цех ввалилось начальство во главе с директором Павлом Павловичем Буераковым — низеньким, коренастым человеком с красным лицом, с хитрой искоркой в щелочках глаз... Носик у него пуговкой, он уютно прячется между щеками, и ему там должно быть тесно. Буераков ходит во всем сером — серое пальто, серая широкая кепка, серые замшевые сапоги. При своей полноте он должен был бы ходить тяжело, с одышкой, но он стремительно несется впереди всех и покрикивает молодым тенорком. Всех он знает в лицо и по имени, знает нрав каждого рабочего, помнит о таких событиях его жизни, о которых и сам рабочий забыл. Его звонкий, веселый голос еще издали слышен в цеху.

— Здорово, Гришин! Как дела? Жена-то еще плачет по Ленинграду? Ага, и ты, Костя, на глаза мне попался... Ты что же это, курносый, не дотянул вчера?.. А я-то надеялся на тебя, дружок!..

От этого жизнерадостного голоса и прыткости в цех как будто влетает свежий ветер. Буераков тоже наш, ленинградский, и здесь он такой же, точно война и пережитые испытания совсем не отразились на нем. А ведь только благодаря его энергии, настойчивости и находчивости завод заработал па полный размах раньше положенного срока. Может быть, эта его живость и веселый дух и возбуждали во всех бодрость, неутомимость

и упорство. Он опытный инженер. Без него и завода как-то нельзя себе представить.

Рядом с ним широко шагал длинноногий, длиннолицый главный инженер — Владимир Евгеньевич. Лицо у него холодное, замкнутое, тонкие губы сжаты крепко, и очень редко услышишь его голос. Особенно неприятны у него глаза: они смотрят в упор на человека, но словно не видят его. Они и беспокоят своим безучастием, и отталкивают своей пристальностью. Но это — человек сердечный. Он сросся с заводом и весь без отстатка растворился в нем.

За ним шел с Петей парторг ЦК, Алексей Михайлович Седов, наш товарищ юности, смуглый парень с горячими глазами.

Я волновался, но старался быть спокойным, невозмутимым, и мне было приятно, что эти люди посматривали на меня с некоторым недоумением: они думали застать меня в лихорадке, а я даже не обращал на них внимания, поглощенный работой у своего станка.

В этот раз я пришел в цех, как обычно приходил на смену: без лишних разговоров, без приветствий; я занял свое место, надел халат и, молча, с методической неторопливостью, проверил мотор и все приспособления, подсчитал и привел в порядок заделы.

Хотя меня и не было видно за станком, и только соседи могли заметить тощую фигуру в халате, но я чувствовал, что в наших фрезерных кварталах горячо. Ко мне никто не подходил, не задавал вопросов,— все знали, что во время работы я был неприветлив. Тем более теперь,— мое рабочее место было ограждено. И только мельком я встречал пристальные взгляды своих друзей и справа и слева. Старые рабочие делали вид, что заняты не менее меня, а молодые, кажется, нервничали сильнее, чем я сам.

Буераков еще издали протянул мне руку и закричал юношеским тенорком:

— Здорово, здорово, Николай Прокофьич! Как оно у вас? Готово? Мешать вам не будем, а событие отметим в нашей братской семье. Ну, ну, брат, не протестуйте! Это — не ваше личное дело. Мы не торжество устраиваем, а ставим серьезнейший вопрос от ответственности, о помощи фронту.

И сразу же, без всякого перехода в интонации, с той же юношеской звонкостью сообщил:

— Между прочим, твой старик работает героически, на зависть другим. А Лиза просто молодец: бодра, активна, молода, как комсомолка... Об Игнате она вам ничего не сообщала?

— А что? — бросился я к нему. У меня похолодело сердце. — Случилось что-нибудь, Павел Павлович?

— Ничего, ничего... Все в порядке...

И опять без передышки крикнул высоким пронзительным голоском в глубину длинного, сияющего электричеством, многолюдного цеха:

— Товарищи! Друзья! Эта смена — исключительная на нашем заводе. Николай Прокофьич Шаронов становится на вахту с обязательством дать к концу смены пятнадцать норм. Никогда еще на фрезерных станках никто из мастеров не ставил таких рекордов: хочется верить, что товарищ Шаронов свое обязательство выполнит. Я не удивлюсь, если он и этот рекорд перекроет. Наш русский человек — особенный человек, он невозможное делает возможным. Он всегда поражал мир своими дерзаниями. Доказал он это победами в эпоху пятилеток, а теперь — и на полях сражений и на трудовом фронте. Завтра утром товарищ Шаронов даст нам отчет о результатах своей работы. Это будет новая победа тысячников. Тысячники появляются везде, но это все-таки единицы, отдельные герои. Шаронов пробивает дорогу массовому движению победителей — бойцов, которые разят одновременно и рутину, и фашистского зверя. Пожелаем же Николаю Прокофьичу (он поднял руку и повернулся ко мне), пожелаем же нашему товарищу и другу блестящего успеха!

Аплодисменты.

Я не привык к таким торжественным минутам. Поэтому неуклюже, с глупым видом сконфуженного человека, со скрытым раздражением я принужден был выйти из-за станка и сердито сказать только одну фразу:

— Становясь на трудовую вахту, даю твердое обязательство, товарищи, выполнить, по возможности, больше, но не меньше пятнадцати норм.

Я удержал Павла Павловича и посмотрел ему прямо в глаза. Он смутился и немного растерялся. Седов, обеспокоенный, шагнул в нашу сторону, точно директору угрожала опасность.

— Все-таки, Павел Павлыч, вы мне должны сказать, что случилось с Игнатом. Передо мной — серьезное

испытание, а вы меня лишаете равновесия... Говорите, Павел Павлыч!

Директор сначала сделал вид, что испугался, а потом вздохнул с облегчением:

— Уф, шайтан вы этакий! Вот обрушился на меня!.. Ну... так вот вам: летчик Игнат Шаронов награжден Золотой Звездой... Поздравляю! На сегодня хватит и этой радости. Желаю вам блестящих успехов.

— На сегодня?.. Значит, у вас есть что-то еще?

Он отмахнулся и побежал от меня назад, к выходу. За ним поспешили и другие. Петя сначала пошел за ними, потом замедлил шаг, остановился, провожая их взглядом, и круто повернул обратно.

Никогда я еще не приступал к работе с таким светом в душе. Сначала я был охвачен только одним чувством, которое вызывало радостную дрожь в груди и в руках — какое-то сверхвольное ликование: Игнат — Герой Советского Союза,— орден Ленина и Золотая Звезда... Лиза бодрая, как комсомолка... И это охватившее меня чувство ослепляло меня. Я завидовал Игнаше и уносился мечтами в Ленинград. Там каждый клочок земли дорог мне с детства... Меня трясло от ярости. В Павловске — волчьи морды; в Пушкине, в парке,— алчные волки; в Петергофе — громилы, уничтожающие дворцы и фонтаны. Разве можно забыть об этом хотя бы на миг? Разве можно любой работой заглушить невыносимую боль?

Однажды на Кавказе мне пришлось участвовать в отряде казаков, которые по набату собрались большой толпой и на конях и тачанках помчались на борьбу с саранчой. Впервые я увидел эту омерзительную тварь. Она ползла неудержимо, сплошной массой, тускло поблескивая на солнце зелеными полушариями глаз. Она шелестела, как сухие листья. Чудилось, что вместе с этими миллиардами насекомых плывет отвратительная тошная вонь. Это было чудовищное и неотразимое нашествие прожорливой мрази. Она ползла на хлебные поля, чтобы пожрать их.

Сотни, тысячи людей рыли глубокие канавы, а вдали от края до края верховые гоняли лошадей с каменными катками, чтобы давить эту нечисть. В наши канавы водопадом сыпались маленькие чудовища, но они не могли подняться вверх, по отвесно срезанной стенке. И вот канава быстро наполнилась кишащей грязно-зеленой мас-

сой. Мы сбрасывали лопатами землю на эту мразь, хоронили ее и гадливо смотрели, как шевелится земля. Мы отбегали назад, на новую линию, чтобы копать новые канавы, а люди ждали врага с лопатами в руках, и этот враг кипел на солнце, рвался через засыпанные канавы, и казалось, что ему никогда не будет конца.

Фашисты... Да, это — саранча, которая ринулась на нашу страну. Это — орда палачей, обезумевших от расстрелов и виселиц, пыток и расправ над беззащитными людьми. Толпятся женщины с грудными младенцами, старики, ребятишки... Гитлеровцы поливают их дождем пуль. Люди в ужасе кричат, стонут и сотнями падают на землю... А там, неподалеку, в бурьянах, бесстыдно насилуют девушек... Горят деревни, взрываются города. И на пустынной дороге под низкими тучами идут бесконечные вереницы женщин и детей под конвоем солдат — пленники, угоняемые в рабство, на медленную мучительную казнь... Так могла бы идти под дулом врага, по грязи, под холодным дождем, в безнадежную даль и моя Лиза за руку с Лавриком...

Эти картины часто преследуют меня в кошмарных снах.

Но сейчас сердце непослушно радовалось: Игнаша получил Золотую Звезду! Мне хотелось смеяться, по-мальчишечьи топать ногами и петь. Чудилось, что и мой станок смеется. Интересно, на каком самолете Игнаша совершает свои полеты — не на нашем ли штурмовике? Не чувствует ли он и моего незримого присутствия в самых важных частях своей машины?

Я снимаю первую группу деталей и обследую их с привычной придирчивостью и инстинктивной тревогой. Я вижу внимательные глаза моих товарищей, которые пристально следят за мной. Мое лицо, вероятно, бледно, потому что у соседей — у этих хороших парней, которые уважают меня,— тоже бледные лица. Я перевожу рычаг коробки скоростей. Пульс ускоряется. Должно быть, такой же восторг испытывает и Игнаша, когда дерзко нападает один на несколько самолетов и разит их верно и расчетливо или прорывается сквозь бурю зенитного огня и пикирует над немецкими танками, батареями и эшелонами.

Ко мне подходит Петя, но делает вид, что заинтересован не моей работой, а работой гидравлического пресса, который стоит за мной в среднем проходе, как три-

умфальная арка. Подняв голову, Петя рассеянно следит за этим огромным сооружением и как будто не одобряет медленных и упругих его движений. Но я очень хорошо знаю, почему он остановился около моего станка. Ведь и у него бурно бьется сердце. Мне кажется, что лицо у него осунулось и губы почернели.

Я смеюсь, поглядываю на него исподлобья и машу ему рукой. Он подходит медленно, вопросительно подняв брови. А когда встречает мои смеющиеся глаза, пожимает плечами и укоризненно качает головой.

Он берет детали и осматривает их, потом устремляется к станку.

— Изрядно,— говорит с притворным равнодушием,— проверим результаты. Не слишком ли ты жмешь на число оборотов? И не слишком ли нервничаешь?..

— Друг мой, я холоднее тебя: ты страдаешь от сомнения. А это тебе не к лицу. Не терзайся: дам не меньше пятнадцати.

Он смеется и исчезает за другими станками. Но когда он выходит в переулок влево, я вижу, как его окружают фрезеровщики и не пускают дальше.

Стиснув зубы, я снова берусь за рычажок коробки скоростей: черт побери, даю до последнего предела...

Утром пришел Седов, пришел один, с угарно-красными от бессонницы глазами. Застенчиво улыбнулся и спросил:

— Я не помешаю тебе, Николай Прокофьич?

— Милости прошу, Алексей Михайлович.

— До сих пор я считал себя неуязвимым, но в эту ночь я метался... Ну, как?

Я засмеялся.

— А я, наоборот, чувствую себя бодрее и свежее, чем вечером, когда вы — извините — почтили меня торжественным посещением...

— Ну, брось, Шаронов! Неужели ты не понимаешь, что это... не для тебя было нужно... Оставим это... Скажи: сколько?

Я сдержанно доложил:

— Надеюсь до конца смены довести до семнадцати норм...

...В перерыве я не ужинал,— есть не хотелось. Я был охвачен таким возбуждением, таким душевным восторгом, что физически ощущал себя радостно сильным. Ничего не видел вокруг себя, подстегивал свою машину и с

наслаждением всем своим телом чувствовал хруст и скрежет фрезеров, которые въедались в металл. Рассыпались серебристые стружки и опилки. Эмульсия била струями на фрезеры и вспыхивала золотыми брызгами. И все-таки я даже волосами ощущал человеческое дыхание, людскую тесноту необъятного цеха. И теплота была человеческая — живая, кровная, уютная, а рокот и разговор машин, вздохи и крякание гигантских прессов и гуденье элетромоторов не воспринимались отдельно, как отдельно от меня не жил и мой станок.

После гудка ко мне из всех проходов бросились рабочие.

— Ну как, Николай Прокофьич?

— С победой, Коля!.. Ну и работа!..

— Сколько же? Неужели семнадцать?

И сразу же меня оглушили рукоплескания.

Навстречу мне шла целая свита во главе с директором, который протягивал мне руку и кричал:

— Поздравляю, поздравляю, Николай Прокофьич! Дайте-ка я обниму вас, хороший мой, дорогой!.. И здесь показал себя героический Ленинград...

4

Я пришел домой бодрый, с удовольствием умылся, смочил мокрым полотенцем грудь и лопатки. В прихожей встретил Аграфену Захаровну. Она стояла в двери кухни и своей ласковой улыбкой заставила и меня улыбнуться. Эта деликатная женщина, кажется, инстинктивно чувствует нас — и мужа и меня: она знает, когда нужно молчать и не показываться на глаза; знает, в какую минуту встретиться и сказать свое простое слово; знает, когда постучать в дверь и пригласить к себе попить чайку. Ни одного грубого слова я не слышал от нее, ни одной жалобы на житейские лишения и неудобства. И когда она рассказывает о том, как стоит в очереди у магазина в толпе иззябших женщин, она по-своему добродушно жалеет не себя, а их.

— Ведь как люди-то измотались!..— Она тихо смеется и качает головой.— Без страды да мытарства вас не накормишь...

Проходя мимо нее, я спросил по-свойски, кивая на закрытую дверь в их комнату:

— Спит?..

Она сморщилась от притворного негодования и торопливо отмахнулась.

— Насилу уложила, поперешного. Сама и умыла и спину натерла. Как маленький какой... У него, вишь ты, битва идет. Так вот, неймется ему, грешнику,— рвется опять к печи. Надавала ему тумаков, разула, раздела, толкнула в кровать и дверь заперла...— И с милым злорадством она засмеялась.— Пускай его, дикошарого... Ни за что не выпущу. За вас вот еще надо приняться... Зайдите ко мне, Николай Прокофьич: чайку выпейте — свеженький.

— Чайку выпью, Аграфена Захаровна, выпью именно с вами, потому что вы превосходная женщина.

Она всегда спокойна, точно ничто ее не удивляет. Кажется, случись пожар или налет немецких самолетов, она не испугается: останется такой же спокойной и так же будет стирать пальцами улыбку с губ. Она неторопливо позаботится о муже, обо мне, с настойчивой лаской уведет нас в безопасное место, а потом уже пойдет спасать свое хозяйство. С первого взгляда кажется, что она ко всему равнодушна, что для нее на свете не существует ничего нового. Но присмотришься, почувствуешь ее и удивляешься: сколько в ней материнской нежности, внимательности! Она знает, какие страдания переносит моя Лиза в отрезанном от всей страны Ленинграде, знает, какая у меня боль в душе: что я не только в цеху, но и дома охвачен одной мыслью — бороться за мой Ленинград, за моих людей, за мою страну. Она знает об этом, все замечает, и все же я ни разу не слышал от нее ни вздохов, ни утешений.

Я сел вместе с нею за столик в кухне. Было очень тепло — плита пылала жаром. На плите что-то клокотало и пыхтело. Аграфена Захаровна молча налила мне стакан крепкого чаю, подсунула сахарницу и щипчики, открыла духовку и вынула противень с румяными ватрушками. Так же безмолвно и заботливо сложила их на тарелку и поставила на стол ближе ко мне.

— Ну, что вы делаете, Аграфена Захаровна! — возмутился я.— Разве теперь можно отрывать от себя такую драгоценность? Вот я слопаю у вас эти ватрушки,— что тогда будет есть Тихон Васильич?

— Ешьте, ешьте, Николай Прокофьич... на здоровье!

Всем хватит. Очень я люблю, когда мое кушанье нравится.

Она стояла с деловым видом и ожидала, когда я возьму ватрушку.

— Не возьму, пока вы со мной не сядете.

— Есть мне время рассиживаться с вами... Надо вот в магазин поспешать: там очередь у меня занята.

Но все-таки присела, чтобы поближе подсунуть блюдечко с мелко наколотым сахаром.

— Но у меня — свой сахар, Аграфена Захаровна. Что за расточительность!

Она вскидывает на меня серые, умные глаза и с упреком качает головой. Мне неловко за свою мелочность. И, вероятно, для того, чтобы я почувствовал себя непринужденно, она наливает себе чашку чаю, берет ватрушку и бережно ломает пополам. Горячая, пахучая, с поджаренной корочкой, ватрушка вкусно потрескивает. Крошки творогу падают на стол, и Аграфена Захаровна истово подбирает их щепотью. Я беру ватрушку, вонзаю в нее зубы, и с наслаждением ощущаю горячую корку, чудесный ее хруст и аромат обжигающего десны творога.

— Эти шанежки все скушайте, Николай Прокофьич: для вас пекла. Ночка-то ведь у вас была нелегкая. Трудно, трудно, а свое взяли!

— Откуда это вы знаете, Аграфена Захаровна?

— Вижу. Глаза-то у вас, как у маленького ребенка. И шанежка моя нравится.

— Очень вкусно, Аграфена Захаровна: кажется, только в детстве ел такую прелесть.

— Когда на душе хорошо — и ешь с аппетитом, Николай Прокофьич. У вас никогда не будет неудачи.

Я засмеялся.

— Вот те раз! У всех же бывают неудачи.

— А у вас не будет. Может, и были когда неудачи, по глупости, а сейчас нет. Вы — как мельница: все перемалываете, а выходит золото. Как и мой бирюк. У вас, у обоих, сна спокойного нет. Сегодня мой сталевар пришел, как черт из ада. И одно бормочет: не свалить меня кировцам! Они одну задачу решают, а я — две. Ну, сижу около него, а он бормочет...

Она встала, стерла улыбку с губ, подмигнула и наклонилась над моим ухом.

— Ежели будет мой недосыпа бунтовать, и голоса не подавайте. Ложитесь себе и — ни гу-гу... Почует, что дома никого нет — опять грохнется на постель. Такой уж...

— Писем мне нет, Аграфена Захаровна?

Она промолчала и начала одеваться.

— Почему так долго не пишет мне Лиза — ума не приложу...

Она сердито упрекнула меня:

— Там тоже ведь дерутся... не только вы один с Тихоном...

И вышла в прихожую, одетая в овчинную шубу, закутанная в теплую шаль. Потом быстро возвратилась и сердито постучала пальцем по столу.

— У меня все съешьте... обязательно... лучше не расстраивайте!

Эта ее простая, домашняя заботливость волнует меня.

Их уплотнили — отняли для меня комнату. Значит, я нарушил их жизнь, стеснил их. Старый, заслуженный рабочий, которым завод гордился,— он вправе пользоваться спокойным отдыхом. Но он принял меня радушно, даже как будто с удовольствием.

— Ничего, не беспокойся, Николай Прокофьич. В тесноте, да не в обиде. Теперь людям надо быть теснее, а когда теснее, значит, сильнее.

В ту минуту, когда я сидел перед ним застенчиво и смущенно, Аграфена Захаровна стояла поодаль и молчала. И я думал тогда, поглядывая на нее, что она должна ненавидеть меня, как недруга. Когда я робко спросил, могу ли принести свои вещички и переночевать хотя бы в кухне, она улыбнулась.

— Это зачем в кухне-то, Николай Прокофьич? Сами ведь видели: комнатка ваша свободная — располагайтесь. Вот Тихон Васильич пойдет с вами и поможет перенести ваши пожиточки. С какой стати стесняетесь-то? Свои ведь люди-то. Вы вон сколько выстрадали! У вас, должно, и сердце-то все почернело...

А Тихон Васильевич, щетинистый, с обожженным лицом и кровавыми белками, коренастый, пахнущий окалиной, добродушно улыбался и подмигивал мне, кивая головой на жену.

— Она у меня характером не крикливая, без штурмовщины, но сердце всегда с нагревом.

И как я ни старался отбиться от помощи Тихона Васильевича, но не смог убедить его, что вещей у меня — только чемодан, походная койка и постель, что я сам перенесу их без труда, тем более, что все это находится рядом, во Дворце культуры. Он молча, с затаенной усмешечкой, оделся, а Аграфена Захаровна, довольная, уже не стирала с губ свою улыбочку.

Тихон Васильевич тогда произвел на меня странное впечатление: вел он себя благодушно, снисходительно, но старался не встречаться со мной взглядом, словно затаивал в себе недоброжелательство: его глаза упирались в стол, в стены, в волосатые руки. Не смотрел он и на Аграфену Захаровну. Мне было очень неловко: я решил в тот вечерний час, что я нежеланный для них постоялец, что они подчиняются только необходимости. Это ощущение неловкости мучило меня несколько дней. Когда мы шли с ним в полутьме по тротуару, навстречу заводским огням, он молчал и хрипло покашливал. Казалось бы, у него могло быть много вопросов ко мне — ну хотя бы о Ленинграде, о боях на его подступах, о работе заводов в эти страшные дни и ночи, когда небо в огне, в грохоте, реве самолетов.

Мы разгрузили свои эшелоны на территории уральского гиганта и сейчас же начали монтировать корпуса, постройка которых законсервирована была с первого дня войны и стены которых не были доведены еще и до половины. Кроме того, мы уплотнили еще три старых цеха, разделив площадь каждой «коробки» пополам. Этот город, как и все промышленные места Урала, взбудоражен, и все пространство от северных до южных склонов хребта грохочет металлом и волнуется сотнями тысяч людей — дорожных, измученных, непрерывно, днем и ночью, прибывающих с эшелонами. В старом городе все клубы, некоторые школы, музеи и корпуса университетского города были заняты под заводские цехи. Улицы, дворы и бульвары загромождены разными машинами, кучами ржавых больших и маленьких деталей. Толпы людей возились среди нагромождений, тащили в двери и в проломы стен станки, чугунные станины и части машин. А квартиры в коммунальных общежитиях уплотнялись до отказа, и приезжие инженеры и рабочие вселялись по нескольку человек в одну комнату. Единственная в городе гостиница и Дом крестьянина тоже были забиты людьми: в вестибюлях и коридорах

лежали и сидели на своих пожитках женщины и дети с покорными, измученными лицами.

Мы шли с Тихоном Васильевичем, толкаясь плечами, и молчали. Шаги у него были тяжелые, грузные, а я шагал рядом с ним как-то легкомысленно и бойко. Должно быть, в его глазах я был смешным и легковесным. Его молчание утомляло меня, но ему, кажется, доставляло удовольствие. Я не выдержал и несколько вызывающе сказал:

— Мы не гости, и Урал для нас свой дом, однако свалились на вас, как обвал. Кое-что придется поломать у вас, Тихон Васильич, кое-что и заново сделаем...

Он, казалось остался равнодушным к моим словам — молчал и посапывал. Мне стало еще более тягостно, и я начал злиться: какого черта он сопит, как медведь? Неужели ему безразлично, что переживает страна? Я хотел было сердито спросить его, как же другие рабочие относятся к нашему вторжению в их завод, у которого, несомненно, было много старых традиций, но он вдруг проговорил добродушно:

— Все утрясется, все свое место найдет... и люди друг к другу притрутся... Рушить-то легко, а вот собирать-то каково!..

— У нас — жесткие сроки, Тихон Васильич: через месяц завод должен работать на полный размах.

Он опять долго молчал, потом усмехнулся и крякнул недоверчиво.

— А чего ж? Всяко возможно. Сроками не играют. Насколько можем, и мы поможем...

Такой нудный разговор был и на обратном пути. Он нес мою коечку и чемодан, а я — постель и какой-то зашитый тюк.

Он обладал удивительной способностью не спать по двое, по трое суток и сохранять обычное свое спокойствие — спокойствие сильного человека. И если ложился в постель, засыпал мгновенно. Его храп и мычание были потрясающи. Но очень часто бывало, особенно в последнее время, что он просыпался через час, через два и выходил из комнаты с разбухшим от сна лицом, но с лукавой свежинкой в глазах. Белки у него всегда были кроваво-красные, но глаза не болели.

В это утро произошла с ним смешная история. Я с наслаждением прикончил свои ватрушки, осмотрел плиту — как бы не выпали угли на пол — и прошел к себе

в комнату. И как только увидел свою койку с уютной подушкой, сразу почувствовал, что устал смертельно. Раздеваясь, я забывался, охваченный сном; и стены, и столик, и синие утренние окна теряли свою реальность: все казалось зыбким, все чудилось ненастоящим...

Проснулся я от страшного грохота и рева. В первое мгновение я почему-то был уверен, что нахожусь в Ленинграде, что немецкие самолеты бомбят город, что фугасы рвутся где-то рядом... В доме и на улице — какая-то суматоха и крики толпы. Но я увидел мирные стены комнаты, рабочий столик рядом с кроватью и успокоился. В дверь ко мне кто-то настойчиво стучал кулаком. Я вскочил с кровати.

— Кто там?

И открыл дверь, но в прихожей никого не было.

— Груня! — беззлобно басил Тихон Васильевич.— Ну, не дури, Груня,— отопри!

Хотя у меня ломило голову и сон сковывал глаза, но я не мог удержаться, чтобы не захохотать.

— Не бунтуй, Тихон Васильич, — успокоил я его. — Покорно ложись спать и дрыхни до прихода Аграфены Захаровны. Ушла, брат, и надежно заперла тебя на замок.

Он разъяренно вздохнул.

— Ну и лиходейка!.. Тут на завод нужно, понимаешь, а она... Будь верный друг, Николай Прокофьич, возьми кочергу и сломай эту дурацкую штуковину.

— Не могу, Тихон Васильевич. Из любви к тебе и из уважения к Аграфене Захаровне не могу: она строго-настрого запретила мне даже подходить к двери. Хоть я и сочувствую тебе, но в жизни никогда замков не ломал.

— Фу ты, язви тебя!.. Ведь товарища освобождаешь... чуешь? Ломай, говорю тебе!

— Потерпеть придется, Тихон Васильевич. Аграфена Захаровна сама выпустит тебя. А пока полезно тебе подрыхать. И не проси — на шаг не подойду.

Он был сконфужен, бухал пятками по полу и вздыхал.

— Вот стервецы! Сговорились, как тюремщики. Уважал я тебя, Коля, а теперь хорошо знаю, какая тебе цена! Трус ты, и более ничего. Баба проказы надо мной строит, а ты, знаменитый фрезеровщик, на задних

лапках перед ней! Ну, ответь честно: кто тебе дороже — она или я?

— Мне дороже всего, милый мой, верность. Не могу нарушить распорядков в доме моих друзей. Кроме того, вполне разделяю убеждение Аграфены Захаровны, что тебе надо основательно выспаться. Да и мне не мешай: я тоже нуждаюсь в отдыхе.

И я решительно захлопнул дверь.

5

Проснулся я в час дня. Спал без просыпу, без сновидений. Впрочем, не сам проснулся, а разбудил меня стук в дверь и голос Аграфены Захаровны:

— Да будет вам, Николай Прокофьич, спать-то!.. Вставайте — хорошо поспали.

— Встаю, Аграфена Захаровна. А как Тихон Васильич? Не разнес перегородку?

Аграфена Захаровна засмеялась.

— Удрал на завод... Пришла, а он дрыхнет во все завертки. Сама уж разбудила. Разъярился, как зверь. Гляжу на него, а меня так всю и трясет от смеха. Ну, видит, что меня страхом не возьмешь, давай сам хохотать...

— Какая вы хитрая, Аграфена Захаровна!

— Ну, ну, хитрая... С вами без хитрости ничего не сделаешь. А вы вставайте-ка проворней. Директор к вам приезжал. Хотела я вас поднять, да не велел: никак, говорит, нельзя, пускай выспится. В час, говорит, заеду. Видать, человек хороший.

Я вскочил с койки и начал торопливо одеваться. Меня охватило беспокойство. Почему именно Павел Павлович сам заехал ко мне на квартиру? Ведь этого раньше никогда не случалось. Значит, что-то важное заставило его завернуть ко мне. Вспомнился вчерашний разговор об Игнаше... Игнаша — Герой Советского Союза... Эта радость не потухала в сердце даже во сне. Но Павел Павлович не сказал всего: он утаил что-то от меня. Он знал меня хорошо и был, очевидно, осторожен со мной. Он отделался от меня шуткой. Я тогда сразу же почувствовал, что он не сказал мне всей правды, но эту остальную правду я относил к подробностям подвига Игнаши. А теперь сердце сдавило предчувствие. Не про-

изошло ли какой-нибудь беды с Лизой? Нет, о ней он говорил бодро и весело. Отцом он тоже восхищался. Уж не погиб ли Лаврик?.. Но на мой вопрос он ответил обычной фразой: «Все в порядке». В чем же дело?

Я включил чайник, подошел к окну и стал прислушиваться, не шумит ли машина. На улице было тихо. Мимо окна проходили тепло закутанные женщины с мешочками, с кошелками, а некоторые тащили за собою салазки. Проехал воз с дровами. Лошаденка — мохнатая от инея, и от нее шел пар. Бородатый старик в заплатанной шубейке шел рядом с нею и держался за оглобли. Я сел к столу и открыл книгу Гюлле о фрезерных станках, но сейчас же отбросил в сторону. Загудела машина. Я вскочил со стула и бросился к окну. Прогромыхал грузовик с казенной мебелью.

Почему непременно Павел Павлович должен приехать с дурными вестями? А может быть, он хочет поговорить со мной с глазу на глаз о Пете, который переживает тяжелую драму и с которым я близок, как никто. Не исключено и то, что Павел Павлович, может быть, на днях полетит в Ленинград, куда он уже летал один раз, и сейчас хочет поговорить со мной о том, что передать Лизе на словах и какие поручения я мог бы дать. Но эти мысли не успокаивали меня.

Я не заметил, как подъехала машина, как позвонил звонок, услышал только звонкий голос Буеракова в прихожей. Я бросился к двери, распахнул ее и встретил прищуренную улыбку Павла Павловича, он быстро вошел в комнату и, потирая руки, крикнул:

— Ну, и морозец, скажу я вам! Здорово закручивает... с уральским перцем.

Я схватил его за руки и крикнул:

— Почему вы меня не разбудили, Павел Павлыч?

— Ну, вот еще! С какой же стати? Вам нужно было выспаться как следует. Заезжал я на всякий случай.

В глазах его уже не было обычной хитринки. Мне даже показалось, что он немного смущен.

— У вас чайник кипит? Вот стаканчик чайку я выпью с удовольствием.

Он сел к столику, оглядел комнату и вынул из кармана трубку и резиновый мешочек с табаком. Я заварил чай и приготовил посуду. Буераков не находил слов для разговора и чувствовал себя как будто неловко. А я

никак не мог побороть своего волнения и исподтишка наблюдал за ним. Я давно знал его, как крепкого хозяина и организатора, который сросся с нашим заводом и отдавал ему всего себя без остатка. Часто он был крут и сурово требователен. Но это был простой, доступный и ясный человек. Он любил веселую шутку, остроумный разговор, и нередко его тонкая насмешка подтягивала людей крепче, чем прямой выговор. Но когда он узнавал, что такой-то рабочий или такой-то инженер испытывает нужду или вышел из строя по болезни, он первый устремлялся к нему на помощь. Был такой случай в нашем цехе: заболел один старый рабочий, и его отправили в больницу. На другой же день Буераков заехал к нему с фуфайкой и валенками, посидел немного у его койки, пошутил, ободрил старика.

Попыхивая трубочкой и озираясь, он по-простецки говорил, как бы желая обрадовать меня:

— Вы, вероятно, и не предполагали, Николай Прокофьич, как далеко стреляете. Наш сосед здорово забеспокоился. Звонят и с других заводов. А мы, не теряя времени, оснастим вашим приспособлением и другие станки. Поруководить вам с Полынцевым придется. Сразу же начнете с своего участка. Вот только режет нас соседний цех. Нужно произвести там небольшой переворот. Новаторством не увлечены. И дисциплина плохая. Попрошу вас возглавить бригаду — навести там порядочек, создать хорошую трудовую атмосферу.

Он нарочно оттягивал время, чтобы приспособиться ко мне и успокоить меня деловыми вопросами. Его деликатность трогала меня. Я поставил перед ним стакан крепкого чаю и сам со своим стаканом сел против него. Мы обменялись улыбками, и я увидел в его прищуренных глазах что-то вроде предостережения и сожаления. Он налил чаю в блюдечко, положил кусочек сахару в рот и с удовольствием стал отхлебывать чай, сдувая густой пар (в комнате было холодно).

— Наши ленинградцы в этом цеху не проявляют никакой инициативы. А начальник цеха, хоть и знающий инженер, назначен был впопыхах. Но молодежь там очень нетерпеливая и горячая. С ней можно работать, и хорошо работать, нужно только ее организовать, поощрить и включить в соревнование.

Я не выдержал роли гостеприимного хозяина и перебил Буеракова:

— Павел Павлыч, я догадываюсь, в чем дело. Вы навестили меня не для того, чтобы поделиться своими деловыми соображениями, вы хотите сообщить мне что-то особенное...

Он опорожнил блюдце, поставил на него недопитый стакан и пристально поглядел на меня проверяющим взглядом. Потом сунул трубку в рот и стал раскуривать ее, следя глазами за вспыхивающим огнем спички.

— Видите ли, Николай Прокофьич... Мы все сейчас в бою. И сила наша в том, что мы, большевики, никогда не сгибались ни под какими ударами. Наш народ умеет переносить всякие испытания, умеет жертвовать собою, умеет бороться и побеждать. Мы выносливые люди. Я знаю, что вы сильный человек, немножко импульсивный только, но стойкий и упрямый. Поэтому я не думал скрывать от вас правды. Вы, конечно, узнали бы ее не сегодня, так завтра. Но это не меняет дела...

Я нетерпеливо остановил его рукой:

— Предисловие излишне, Павел Павлыч. Вы меня знаете не первый год. Что-нибудь случилось с Лизой? С ребенком?

Он посмотрел на меня и засопел трубкой.

— Нет, с ними все благополучно.

— Но что же тогда?

— Ну, вот... заметался человек!

Я овладел собою и стал завертывать папиросу.

— Почему заметался, Павел Павлыч? Вполне понятное нетерпение. Теперь возможны всякие удары. И я готов ко всяким неожиданностям.

— Вот это самое главное, Николай Прокофьич. У Полынцева вон какое большое горе, однако он попрежнему работает превосходно. Вот у меня погиб брат, моряк-балтиец, сестра расстреляна с ребятишками в Пушкине. Но, друг мой, это не может выбить из строя. Наоборот, это еще более ожесточает в борьбе.

— Значит, что-то произошло с Игнатом, Павел Павлыч?

— Да... Упал в расположение врага с горящим самолетом.

Я встал и схватился за край стола. Сердце похолодело и замерло. Очевидно, я сильно побледнел, потому что Павел Павлович тоже встал с испуганным лицом и шагнул в мою сторону.

— Не беспокойтесь, Павел Павлыч...

Лицо у него прояснилось.

— Знаете, Николай Прокофьич, по-моему рано еще хоронить Игната. Упасть вместе с самолетом — это еще не значит погибнуть. Бывало, что летчики возвращались, переходили линию фронта.

Он залпом выпил остатки чаю и выбил пепел из трубки в пепельницу. Я хотел взять пустой его стакан и налить еще, но он положил на него ладонь.

— Не будем утешать себя надеждами, Павел Павлыч. Если бы Игнат и благополучно приземлился, все равно немцы сграбастали бы его моментально. У меня только одна уверенность, что Игнат живым в руки не дастся.

— В этом я не сомневаюсь, Николай Прокофьич. Но подождем — увидим. В вашей семье все удачливые, как любил похвалиться ваш старик.— И Буераков тепло улыбнулся.

— Скажите, Павел Павлыч, когда Игнат получил звание Героя Советского Союза? После гибели или раньше.

— На этих днях. А из строя вышел уже месяца полтора назад. Указ напечатан в газетах. Сегодня-завтра прочтем.

Он положил мне руку на плечо и опять проверил меня с ласковой строгостью.

— Я очень хорошо понимаю... и чувствую, каково у вас на душе, Николай Прокофьич. Но также отлично знаю, что вы не дрогнете... что́ бы ни случилось...

Меня душили слезы, но я старался держаться спокойно.

— Ах, как бы я отплатил этой фашистской сволочи, если бы был там!.. — выдохнул я, сжимая кулаки, и у меня затряслись губы.

— Мы и так здорово им платим...— сказал он с усмешкой, пряча свою трубку в карман.— Мы скоро так их будем крушить, что всю их технику и их орду превратим в прах... Одним словом, мы в тылу тоже воюем неплохо. Вы знаете, что наш ленинградский завод — в разных местах, и теперь эти части превратились в самостоятельные мощные заводы, как наш. Это что-нибудь да значит.

Он взглянул на часы и заторопился:

— Надо ехать. Одевайтесь!

— А мне-то куда?

— Я соберу начальников цехов и технологов, и мы поговорим по некоторым практическим вопросам.

Я автоматически подчинился ему, но совсем не понял, о чем идет речь. Голос директора казался мне и оглушительным и очень далеким. Отрезвил меня морозный воздух. Снег блестел ослепительно, а небо словно было покрыто инеем. Вместо того чтобы войти с ним в машину, я вежливо и решительно сказал ему, что предпочитаю пойти пешком.

— Ну, как хотите... Впрочем, я сам прошелся бы с удовольствием... но нельзя... ждут.

Машина быстро сорвалась с места и подняла за собой снежную пыль.

Я перешел мостовую и зашагал по бульвару под пушисто-белыми деревьями.

...Игнаши больше нет, и я его никогда уже не увижу. Может быть, он сгорел вместе с самолетом, а может быть, схвачен немцами и умер от страшных пыток. Наивны надежды на его спасение... Война еще раз тяжело ранила меня, и рана эта не заживет никогда. Душевные раны неисцелимы. Игнаша был как будто второй моей половиной.

Быть может, очередь за Лизой, за Лавриком, за моими стариками... Ленинград сжат лавиной немецких армий. Тысячи орудий и пулеметов бьют в его предместья, тяжелые снаряды разрушают вековые здания. Люди в домах и на улицах падают, пораженные осколками... Бежит Лиза по тротуару, истощенная голодом и холодом, с работы или на работу. Со свистом летит снаряд и взрывается где-то недалеко... Взмахнув руками, она падает навзничь...

Я вздрагиваю и со стоном сжимаю кулаки. Туда, туда мне нужно, а не корпеть здесь, в цехе, за тысячи верст, в безопасности!.. Туда, где под бомбами и снарядами бежит по улице или стоит за станком моя Лиза, где мой Лаврик по-детски бесстрашно катает саночки во дворе, а к нему с ревом несется снаряд тяжелого орудия... Я должен быть там, чтобы защитить их, иначе родные, бесконечно близкие мне существа будут вырваны у меня, как вырван Игнаша... Я должен защищать их во что бы то ни стало или погибнуть вместе с ними... В Ленинград, немедленно в Ленинград!..

Партийный комитет занимал несколько комнат в первом этаже заводоуправления. В коридоре толкались какие-то люди, кто-то здоровался со мною, и я, не зная, кто это, отвечал на приветствия. Техничка Оля, краснощекая девица с раскосмаченными волосами, как обычно с радостью протянула мне руку. Я попросил ее предупредить Седова, что пришел к нему для личного разговора и прошу его обязательно принять меня.

— А он сам сказал, что ежели вы придете, сейчас же зашли бы к нему. Вот выйдет от него человек, и проходите.

Она быстро встала, схватила пачку каких-то бумаг и выбежала из комнаты.

Значит, Седов тоже знает о гибели Игнаши, если ждет меня... Он знал, конечно, и вчера, но тоже щадил меня, как и директор. Тем лучше, легче будет разговаривать... Он ждал меня — знал, что я приду к нему и открою перед ним всю свою душу. Как старый мой товарищ и друг, он не может не понять меня...

Я остановился перед картой европейской части Союза. Вот он, красный кружок Ленинграда! В замкнутом кольце! И в этом кольце погиб Игнаша. А я — здесь, в дебрях Уральского хребта, куда не прорвется ни один вражеский самолет, куда письма Лизы идут три недели. Здесь я делаю оружие и самолеты, которые уничтожают фашистов. Да, делаю... но сам ими не пользуюсь и силы своих ударов не вижу, не ощущаю. Не вижу, как разрываются моими снарядами грязные тела убийц, как горят их танки...

Из кабинета вышел высокий краснолицый человек в черной коже, а за ним в дверях показался, провожая его, Седов. Он приветственно махнул мне рукой и, как мне показалось, поглядел на меня с тревожным вниманием.

— Заходи, заходи, Николай!

Он взял меня под руку, и мы вошли в его комнату. Я сел в кресло, а он — на свое место за столом.

Мы помолчали некоторое время. Он посмотрел на меня в ожидании, потом повернулся ко мне боком и застыл в задумчивости. Впервые я увидел по его опухшим векам и по глубокой складке на лбу, что он очень уго-

мился. Его цыганская голова — смуглое лицо, энергичный нос, черные горячие глаза, густые и кудрявые волосы — очень мне нравилась: в ней была большая сила, крепкая воля и убежденность. Темно-синяя суконная рубаха с широким отложным воротничком делала его привлекательно простым и близким. Я знал его еще комсомольцем, мы вместе учились на рабфаке, вместе занимались спортом, вместе ездили на охоту. Правда, он потом поступил в институт машиностроения, и мы несколько лет не виделись. Но он опять пришел к нам на завод — вторым секретарем парткома. Тогда он был проще, задушевнее, и втроем — Петя, он и я — мы часто сходились у меня на квартире и проводили вечера в горячих разговорах. Лиза была тогда еще студенткой и мечтала стать астрофизиком. Не раз она таскала нас с собою в Пулково, и мы смотрели там в телескоп на Луну, на Сатурн, на Марс. Мы перезнакомились со всеми астрономами — и знаменитыми стариками, и молодыми учеными, «зверски талантливыми парнями», как о них говорила Лиза. Она с блеском в глазах развивала нам увлекательные гипотезы о происхождении солнечной системы, о туманностях, о большой вселенной... Петя впадал в уморительный экстаз и декламировал, протягивая к ней руки:

Пред нами тайна обнажается,
Возблещут дальние миры...

Это были чудесные дни нашей молодости. А теперь Седов уже не встречается с нами в интимном кругу. Впрочем, и нам с Петей не часто приходится быть вместе в домашней обстановке: некогда. Мне кажется, что Алеша Седов несет в себе какую-то огромную тяжесть. Когда он спит? В цехах можно встретить его и днем и ночью. За день он успевает провести работу и в парткоме, и в цехах, и побывать в городе — в обкоме, в горкоме,— и обойти весь завод.

Он опять повернулся ко мне и опять посмотрел на меня в ожидании.

— Погиб Игнат, Алексей Михайлович...

Он тихо и как бы сам себе ответил:

— Я знаю... знаю и глубоко тебе сочувствую, Николай. Я очень любил Игната.

Сильно волнуясь, я вскочил с кресла и прошелся по комнате.

— Я боевой солдат, Алексей. Как танкист я дрался с белофиннами, и дрался неплохо. Ты это хорошо знаешь. Мне необходимо заступить место Игната. Оставаться в цеху, когда враг душит Ленинград, когда он топчет нашу страну, я не могу... не в силах... не имею права! Я еду на фронт, Алексей...

Седов слушал спокойно и терпеливо, и я видел, что, если бы я говорил целый час, он не выразил бы никакого желания перебить меня. Руки мои дрожали, когда я закуривал папиросу.

— Ты кончил? — спросил он, взглянув на меня исподлобья.

— Кончил.

— Видишь ли, в чем дело, Николай...— И он откинулся на спинку стула.— Ты прав. Я это очень хорошо понимаю и чувствую. Ты садись, не волнуйся. Давай поговорим спокойно.

Он вынул из стола коробку папирос и, не глядя на меня, зажег спичку. Закурил он тогда, когда спичка уже догорала.

— Видишь ли, в чем дело. Я думаю, что нас послали сюда не для отдыха и не для того, чтобы сохранить наши жизни. Отправляясь в глубокий тыл, мы передвигались на передовые позиции. И ты воюешь здесь не хуже любого летчика или танкиста.

— Это — не то, Алексей. У меня душа горит, а ты рассуждаешь... слишком умозрительно...

Он продолжал, не слушая меня:

— Правительство знало, кого надо было призвать на фронт и кого послать подпирать и вооружать армию. И уход с трудовых позиций, с передовой линии оборонных предприятий, хотя бы в самый ураганный огонь на полях сражений,— это такое же дезертирство, как и бегство из окопов. На поле боя ты послал бы врагу один снаряд, и грохот орудия дал бы тебе удовлетворение как мстителю. Я понимаю это. Но кроме этого непосредственного переживания у нас, большевиков, должно быть еще сознание, что поражение врага обеспечивается оружием и техникой. Твои семнадцать важнейших деталей вместо одной увеличивают выпуск оружия во много раз. Что же выгоднее для фронта? Неужели под влиянием душевного потрясения утратил силу этого сознания?

Он умолк и пристально посмотрел на меня. В его глазах появилась грустная теплота и недоумение.

Несомненно, я огорчил его: он не ожидал от меня такого безрассудства. Он заворошил свои курчавые волосы и усмехнулся:

— Не хитри передо мной, мой друг. Я знаю, почему ты бунтуешь. Там — Лиза, там — сынишка. Гибнет Игнат. Немцы бомбят и обстреливают город. Страх потерять близких людей! Вот откуда буря в душе. Так?

— И так, и не так.

— Это именно так, а не иначе, Николай. Я не обвиняю тебя, не упрекаю ни в чем. Повторяю, что психологически — это вполне естественно и законно. Даже неизбежно. Но это — только порыв, импульс. А мы государственные люди.

Лицо мое горело. Я слабел под проницательным взглядом Седова. Но он тоже волновался. Этого волнения никто бы не мог заметить у него, кроме меня: за долгие годы дружбы я привык чувствовать его душевное состояние по неуловимым для других признакам. Он встал, взял другую папиросу и закурил от первой.

— Ты как-то говорил, Николай, что в нашем рабочем классе за годы пятилеток образовалась плотная прослойка культурных рабочих. Это — передовики, люди с широким кругозором. Многие из них, не отрываясь от производства, получили высшее образование. Одним словом, это — настоящая интеллигенция. В дни войны они показали себя в промышленности как сила решающая. Кто теперь создает новую технологию? Они — с инженерами. Откуда пошло движение тысячников? От них. Станки посредством различных приспособлений делаются универсальными, превращаются в полуавтоматы, и на них без всякого труда могут работать даже неквалифицированные рабочие и подростки. Время уплотнилось в сотни раз. Это было бы чудом лет десять назад. Но теперь — это закономерное движение. Надеюсь, что ты и сам относишь себя к передовому слою этой интеллигенции.

Он опять замолчал и смотрел на меня, ожидая ответа. Я тоже встал, и мы улыбнулись друг другу. Он подошел ко мне и протянул руки. Я схватил их и горячо пожал.

— Так что же, Николай? Значит, продолжаем попрежнему сражаться на наших позициях?

— Да, будем работать, Алеша,— драться, не щадя сил.

Он засмеялся, укоризненно покрутил головой и пошутил:

— Ну и горячка же ты чертова, Колька! Необузданный, как раньше...

Он прошел со мною до самой двери и сказал растроганно:

— Когда будешь писать Лизе, передай мой дружеский привет. И не забудь изобразить ей и этот наш драматический эпизод.

А о жене своей он не сказал ни слова. Ведь она, как и Лиза, тоже осталась в Ленинграде.

7

Немцев гонят и в хвост и в гриву, громят их танки, истребляют отборные дивизии. Тысячи орудий и машин, тысячи трупов усеивают снежные поля к югу и к западу от Москвы. Толпы пленных вереницами плетутся по дорогам в тыл наших войск. А наши бойцы, наши танки рвутся вперед, охватывают клещами отступающих фашистов, давят и истребляют их на своем пути. «Наступление продолжается...» Чудесные, полные весеннего ликования слова! Если бы я писал стихи, я создал бы гимн нашей армии, но я рядовой, неопытный в литературе человек и в своих записях выражаю свои мысли и чувства, как умею.

Я плохо сплю, но чувствую себя свежо и легко, как юноша. Все время, даже в дремоте, я чувствую порывы сделать что-то большое, ошеломляющее. Хочется сейчас же послать вдогонку разбойникам какую-нибудь невиданную торпеду, которая, как метеор, прорезала бы небо огненным хвостом.

В цехах идут митинги. Люди дают обязательства — увеличить выработку оружия в два, в три раза. Лица у всех взволнованные, решительные, глаза горят. Я тоже выступил и сказал только несколько слов:

— Друзья! Красная Армия громит немцев. Я обещаю в ближайшее время применить новое приспособление для изготовления одной важнейшей и трудной детали, увеличив выпуск ее во много раз. Значит, и боевых машин двинем на фронт в несколько раз больше.

Я верил в себя и был убежден, что это, пока несуществующее, приспособление уже близко к осуществле-

нию. В тот миг я знал одно: то, что я обещал, будет сделано. У меня было острое предчувствие новой борьбы и новых побед.

Трое молодых рабочих с улыбкой поглядывали на меня и переговаривались между собою так, чтобы я слышал:

— Ну, раз Шаронов обещал, значит, сделает.

— Чего там обещал... У него уже все сделано. Ему приспособить только... Слова у него — не шелуха: у него что ни слово — то ядрышко.

— О какой он детали говорил, интересно?

Один из них, Зиновий Чертаков, коротконогий и большеголовый парень, хороший фрезеровщик, подмигнул мне и уверенно сказал:

— Да тут и голову ломать нечего: одна нас деталь заедает... Самое узкое наше место... Все жилы из меня вытянула, окаянная!..

И он назвал деталь, обработка которой съедала массу дорогого времени. Чертаков давно уже жаловался на свои неудачи: он пробовал ввести кое-какие усовершенствования и добился двойной выработки, но это не удовлетворяло его. Действительно, эта деталь была очень трудоемка по конфигурации. Я думал о ней и раньше, но она не проходила через мои руки.

Я сделал вид, что ничего не слышал из их разговора, и задумчиво крутил папиросу. Но я так взволновался, что у меня дрожали руки, и я никак не мог сладить с бумажкой, которая рвалась в пальцах. Бывают дни, когда вдруг ощущаешь, что перед тобой — нечто вроде пустоты, потому что работаешь уже без задержки, автоматически. Душу охватывает беспокойство, и твое создание, которым ты раньше жил и отдавал ему все помыслы, стареет, становится обыденным. Оно уже — *не твое,* отпочковалось от тебя, и ты опять остался на голом месте. И опять начинаются муки поисков, тоска по новой, еще более напряженной борьбе. Такое томление я переживал и сейчас.

Я работал на двух станках — работал механически, без воодушевления. Своим приспособлением я оснастил еще один станок — станок моей подручной Шуры, молодой девушки с темно-русыми волосами до плеч. Ей было только семнадцать лет, а по развитой фигуре она казалась двадцатилетней. Но лицо ее было наивное, как у подростка, и всегда изумленное. Она была очень пере-

имчива: ей не надо было повторять наставлений — она все воспринимала с первого раза и никогда не ошибалась. Моим приспособлением она стала пользоваться сразу, без всякой робости. И я понял, что она незаметно для меня наблюдала и изучала его в часы моей работы.

В ее отношениях ко мне были кой-какие странности. Когда я встречался с нею взглядами, она или краснела и прятала лицо, или пристально смотрела на меня умоляющими глазами. В эти секунды глаза ее широко раскрывались и блестели

Как-то я спросил ее:

— Что с вами, Шура? Мне кажется, что вы хотите что-то сказать мне.

— Нет, ничего, Николай Прокофьич,— торопливо и робко ответила она.— Если бы что нужно было, я спросила бы...

Со мной она никогда не разговаривала, но я часто ловил на себе ее пристальный, задумчивый взгляд. Она смущалась и сердито отворачивалась. Но с другими рабочими она говорила бойко, словоохотливо, и ее смех звенел задорно и весело. Я решил, что она за что-то обижается на меня, но на мой вопрос она ответила с изумлением:

— Я... обижаюсь? На вас? Это было бы глупо, Николай Прокофьич...

А то вдруг ни с того ни с сего подойдет ко мне и застынет в нерешительном порыве сказать что-то важное, что мучает ее давно.

— Ну, говорите, Шура,— скажешь ей ласково и даже шагнешь ей навстречу, но она точно просыпалась и молча уходила обратно.

Потом эти странные выходки стали раздражать меня, и я приходил к мысли, что она нервно больна. Както я справился об этом у одной ее подруги — Тамары Звековой, маленькой, по-деловому серьезной блондинки (обе они по окончании семилетки в первые же дни войны стали донорами, а потом вместе же пошли ученицами на завод). Тамара с удивлением посмотрела на меня и отрицательно покачала головой:

— Нервы у нее здоровее, чем у нас с вами.

— Чем же объяснить эти странности?

Она усмехнулась и загадочно сквозь зубы ответила:

— Как мало вы знаете нас, девушек!..

Однажды я почувствовал, что Шура стоит около меня, за спиной. Я обернулся и встретил робкую улыбку.

— Николай Прокофьич, посмотрите, так ли я сделала...

— Ну, ну, покажите, что вы сделали.

— Ко мне пойдемте. Я там кое-что изменила по-своему...

Она показала мне кой-какие изменения в моем приспособлении — изменения мелкие, незначительные, но это было усовершенствование, которое еще больше сокращало время обработки деталей. Я похвалил ее. Она закрылась ладонями и засмеялась.

— В конце смены у вас будет аншлаг, Шура. Поздравляю!

Она с ужасом в глазах запротестовала:

— Но это же не я, а вы...

— Как это я? Разве это не ваша работа?

— Но, Николай Прокофьич, важно не то, что по мелочи делается потом, а то, что сделано впервые. Это — не от меня, а от вас... Лучше вас никого нет в цехе.

— А ну-ка, Шура,— проворчал я,— больше мне не говорите таких вещей!

— Но ведь это же — правда, Николай Прокофьич. Это все знают... О вас все так говорят.

— Это вы так говорите, а не все. Я, как и другие, не прыгаю выше головы. Я не изобретаю, не выдумываю нового, а использую старое в других комбинациях.

К моему удивлению, она смело и решительно крикнула:

— Нет, Николай Прокофьич, не то... все у нас обыкновенные и понятные, а вы —необыкновенный.

— Какие глупости, Шура! Необыкновенный, непонятный... Это смешно!

— Да, да!

Я отошел от нее.

Этот странный разговор произошел дня три спустя после известия о гибели Игнаши, и я чувствовал себя тягостно. А вечером пришли ко мне мои друзья.

Ядро нашего цеха — ленинградцы. Нас — человек полтораста. Это в большинстве мои ровесники. Все они вместе со мною пришли на завод. Мы по-родственному близки друг другу. Но самые горячие мои друзья — трое.

Вот Вася — высокий, поджарый парень с серебристыми глазами, которые пристально смотрят на людей.

Соревнуется он со мною играючи, весело и ликует не только от своих побед, но и от моих нововведений.

Вот Митя — маленький, застенчивый, молчаливый человек. С виду он кажется мрачным пессимистом, но это — добряк, с душой нежной и мечтательной. Он чудесно играет на гитаре и готов с ней проводить все часы отдыха.

А вот Яков — белобрысый, без бровей, с виду увалень, всегда как будто всем и всеми недовольный, у станка работает с злым удовольствием и постоянно разговаривает с вещами и инструментами, как с живыми существами.

Вечерами, через каждую неделю, они обычно собираются у меня, и мы идем или во Дворец культуры — в кино, в читальню, на концерт, или прогуляться по бульвару.

На этот раз Вася влетел ко мне один.

— Какая оказия, понимаешь! — еще от двери заговорил он.— Встречаю у проходной нашего главинжа, рву перед ним кепку, а он молча берет ее у меня своей длинной рукой и стоит как колокольня. Я растерялся, не знаю, как держать себя. А он тихонечко говорит: «Я подержу вашу кепочку: она у вас, вероятно, попрыгунья — на голове не держится».— «Что вы,— говорю,— Владимир Евгеньевич! Я стащил ее, чтобы приветствовать вас». — «Но ведь она прыгает у вас с головы сегодня уже не первый раз. И я уж не пойму, — говорит, — не то она боится меня, не то резвится от моего вида».— «Это,— говорю,— происходит от живости моего характера, Владимир Евгеньич!» — «Ну,— говорит,— теперь я буду знать, что и кепка есть зеркало души».

Вася с веселым ожиданием посмотрел на меня и сам первым засмеялся. Я улыбнулся с натугой, чтобы не обидеть его. Он с недоумением покачал головой.

— Не вышло, гм...

— Ты не в ударе, Вася,— хмуро сказал я,— твой анекдот не удался.

— Ну, что же... Тогда угощай чаем. А может, есть кое-что и покрепче?..

Лампочка у меня в двадцать пять свечей, электричество горит до шести, потом перерыв до одиннадцати — часы «пик». Вася норовит приходить часов в пять, зная, что за час до выключения света мы можем вскипятить чайник.

Он живет в одной комнате с Митей и Яковом — в квартире какого-то местного профессора. Называют они своего хозяина Кощеем за его худобу, сутулость и неуживчивость.

Говорить мне не хотелось, и приходу Васи я не обрадовался.

Вася подошел ко мне и положил руку на мое плечо:

— Ничего, ничего, Коля! Нам нельзя впадать в уныние. Разве мало всюду личных потерь? Меня иногда тоже хватает за сердце, а я не желаю поддаваться. Черта с два! Чем и как я могу освободить свою семью из Пскова? Только вот этими руками... и вот этим огнем...— И он стукнул ладонью по своей груди.

— А разве я чем-нибудь выразил свою слабость, Вася? Кажется, силы у меня достаточно, чтобы распоряжаться собою.

— Знаю, знаю, Коля. Дай бог всякому переносить так твердо свое горе, как переносишь ты. Но передо мной-то тебе таиться нечего. Можно молчать или говорить о чем угодно, а сердце не спрячешь.

Чайник закипел, позвякивая крышкой. Я вынул штепсель, заварил чай, включил плиточку и поставил на нее заваренный чай. Вася, как бы вспомнив о чем-то, торопливо вышел из комнаты, но сейчас же возвратился и подмигнул мне издали. С блуждающей улыбкой, ступая на носки, он торжественно поставил на стол бутылочку водки.

— Вот-с, Коля! Против всяких ожогов и сердечной ломоты весьма помогает.

Он взял с этажерочки на стене два лиловых стаканчика, кусок хлеба и несколько картофелин.

— Замечательно!— восхитился он.— Какая догадливая женщина Аграфена Захаровна!

С хрустом раздавил он сургуч о край стола и ударил донышком бутылки о ладонь. Пробка отлетела куда-то в угол.

— Эх, Коля! Вспомним наши мальчишники в Ленинграде... За молодость, Коленька, за вечную, как говорится, юность!..

Мы чокнулись и опрокинули стаканчики в рот. Закусили. Вася наполнил стаканчики вторично.

— А теперь пьем за твою Лизу... За хорошую женщину, которую ты, Николай-чудотворец, должен немедленно вызвать сюда. Завтра же посылай молнию!

Я проглотил свою водку, с грохотом отодвинул стул и схватил Васю за плечо. Он спокойно усмехнулся и удовлетворенно закивал головой.

— Сядь на свое место, Коля! Я и так хорошо чувствую твою душу, мой друг. Лучше выпьем за жар души.

Я уже приятно захмелел, и тоска растаяла в сердце. У Васи блестели глаза и горели щеки. Словоохотливый, он сейчас говорил с особым возбуждением.

— Бунтуешь ты, мой дорогой... Черт с тобой, бунтуй, гори, пылай... только не гложи самого себя. Талант этого не любит... понимаешь? Ты думаешь, неизвестно, как ты штурмовал Седова? Известно. Я хорошо понимаю тебя, но не давай повода к кривотолкам, потому что каждый твой шаг на виду. Ты должен быть — во! Стальная колонна!.. Молнируй Лизе!..

Позвонили. Я вышел в прихожую, но Аграфена Захаровна уже впускала Якова и Митю.

Они, как обычно, разделись скромно и застенчиво, а потом уже за руку поздоровались с Аграфеной Захаровной.

— Василий-то здесь? — почему-то шепотом спросил меня Яков и ладонью старательно пригладил волосы.— Он, окаянный, улизнул, а тут наш Кощей закуролесил...

Митя молчал, как будто то, что сказал Яков, совсем его не касалось. В дрязгах с квартирным хозяином он держался совершенно невозмутимо, как глухой, а когда тот наскакивал на него, участливо предлагал:

— Может быть, вам нужно холодной водицы?..

Началась у них эта перепалка с первого же дня вселения их в комнату. Профессор никак не мог примириться с тем, что у него отняли кабинет и стеснили его в трех комнатах. Но он уже совсем стал невменяем, когда райисполком отнял у него еще одну комнату, куда вселился инженер одного из эвакуированных предприятий с женой и маленькой девочкой. Профессору было лет пятьдесят, но он недавно женился на студентке своего института, кокетливой девице, которая все время напевала песенки и жизнерадостно стучала каблучками по комнатам. На кухне жила домработница, крупная женщина, очень горластая, но добрая сердцем. Она не стесняясь покрикивала и на своего хозяина:

— Будет вам, Сергей Сергеич. Как это можно в вашем звании!.. Не по своей же воле сюда приехали. Война: потерпеть маленько надо...

— Ты молчи! — орал он на нее.— Не твое дело... У тебя здесь нет никакого голоса...

— Я правду люблю,— огрызалась она,— а правда везде голос имеет. И прямо говорю: нехорошо.

Ребята прошли в комнату, а я — в кухню, к Аграфене Захаровне. Она хлопотала у плиты.

— Где же Тихон-то Васильич? Совсем ему не нужно пропадать на заводе не в свое время.

— А вы бы вот доказали ему, Николай Прокофьич; я для него — не указ. Вот жду: на огне все держу. А чую, не придет сегодня, однако.

— Ну, раз его нет, пойдемте вы к нам: погостюйте у нас немного.

Но она легонько толкнула меня к двери.

Ребята сидели плечом к плечу и пили чай. Бутылка была уже пуста. Митя безучастно молчал, а Яков рассказывал что-то и посмеивался.

— Слушай-ка, Коля,— крикнул мне Вася.— Вот тебе свежий анекдот! Недавно наш Кощей заявил нам и соседям, чтобы мы не смели больше пользоваться его ванной. Колонки своей он жечь нам не позволит. Сказал и сделал. Позвал слесаря, вывинтил смеситель и забил втулку в дыру. С тем, как говорится, до свиданья: мойтесь на здоровье!

Митя задумчиво пил чай. Он улыбнулся, отвечая на свои мысли, и только заметил равнодушно:

— Тактика у него разработана вполне научно, не возразишь.

Вася лукаво подмигнул мне, засмеялся, крутнул головой.

Яков с веселой злостью подхватил:

— Тактика уж на что научнее! Начал он нам электричество гасить: ткнет перышком в штепсель — чик! — и тьма. А сам от аккумулятора лампочку себе зажигает. Тут уж я не выдержал, когда он каждый день стал этот номер зажаривать. Подхожу к двери и дипломатически говорю: «По моим,— говорю,— расчетам, профессор, вы расплавили в штепселе девять перышков: они у меня хранятся, я их коллекционирую, чтобы отправить прокурору». Не житье, а комическая опера. Мы ему устроили пантомиму под занавес. Сняли железные трубы с колонки и унесли к себе в комнату. Финал: сам профессор остался без горячей ванны.

— Вы веселые ребята,— неодобрительно отозвался я.— Но это — озорство.

Вася делал какие-то знаки и Якову и Мите и посмеивался, а Митя взял пустую бутылку, обследовал ее и грустно закачал головой. В ответ на мои слова Яков вошел в раж:

— А как прикажешь поступить с культурным хулиганом? Война, видишь ли, потревожила его — лишила удобства и покоя. Пришлось потесниться — дать уголок людям, приехавшим сюда не за сладким житьем. Мерзавец хотел мать с ребенком поморозить в очередях у бани, а мы нашли смеситель и под нашей охраной они вымылись. Я не знаю, за какую ты добродетель, Коля, а мы — за такое озорство. Конечно, выкупались и мы. А после этого вывинтили свой смеситель и опять сняли трубы.

— Какой талант воспитателя пропадает!— скорбно воскликнул Вася и схватился за голову.— Наркомпрос, где ты?

Митя закрыл глаза и запел, покачиваясь из стороны в сторону:

И кто его знает,
Чего он моргает...

Ему с охотой, многозначительно улыбаясь, завторил Вася, но потом сразу же оборвал себя и с восхищением крикнул:

— Ты, Яша, мудрец! Правильно! Мы даем наглядный урок культуры.

— Эх, как ты мелодично выражаешься, Вася! — поразился Митя и звонко щелкнул по бутылке: — А вот водочку-то все-таки успели с дядей Колей выпить... Вот это — наглядный урок.

Все засмеялись. А Митя скромно вынул из кармана брюк такую же бутылку, выбил пробку и налил себе в стаканчик. В этот момент потухло электричество. Все испуганно ахнули. Я зажег спичку и засветил моргасик.

— Кто же это опростал мой стаканчик-то? — с негодованием и обидой спросил Митя.

Яков с застенчивой улыбкой нежно успокоил его:

— Высохло, Митя, улетучилось. Чему ты удивляешься? Спирт — это дух. В словаре справлялся.

— Ты и во тьме видишь, где этот дух витает,— с угрозой отозвался Митя и налил себе половину чайного стакана.

Опять посмеялись.

А я был очень растроган: эти ребята, мои сердечные друзья, и пришли-то ко мне сейчас для того, чтобы развлечь меня — отвлечь от мрачных мыслей. Может быть, они даже раньше меня пронюхали о катастрофе с Игнатом и оберегали меня до поры до времени. Они и теперь ни словом не обмолвились о моем несчастье, как будто никакой беды и не случилось. Мне было смешно смотреть на их неуклюжие и старательные потуги вовлечь меня в круг своих бытовых приключений и поднять мое настроение дружеской рюмкой водки. А достать эти две бутылки стоило им, вероятно, немалых трудов.

Мы выпили еще по стаканчику. Митя незаметно принес из прихожей гитару и тихо запел:

Из страны, страны далекой,
От Невы, родной, широкой,
Ради славного труда-а...
Ради доблести высокой
Собралися мы сюда-а...

Мы пели долго, одну песню за другой — пели задушевно, тихо, взволнованно, обнявшись друг с другом.

8

В девять часов я пошел проводить их. Издалека, с площади, волнами плыла к нам песня. Пел какой-то большой, хороший хор. Передача из Москвы. Зарево над заводом вздрагивало от ярких вспышек, а низкие облака трепетали тусклыми молниями. Откуда-то доносился смутный и глухой гул. Вася с Яковом шли позади и весело спорили о преимуществах летающих суппортов.

— Ты лучше расскажи, Яша, какие тебе секреты открывают инструменты, когда ты с ними разговариваешь?

— Это у меня руки разговаривают, а слова только в ясность приводят. Это — как песня, знаешь... Прокричаться надо, всего себя настроить. Без разговора со станком у меня дело не клеится.

Разливно пронеслась хоровая песня. Мы с Митей посмотрели на туманное сияние зарева, прислушиваясь и провожая улетающий напев.

— Эх, друзья мои! — крикнул я, не сдерживая своих чувств.— Пройдут года, десятилетия... Может быть, мы

будем уже в могиле, а может быть — дряхлыми стариками... Жизнь после этих кровавых лет расцветет невиданной красотой. И новые люди — наши дети и внуки — будут вспоминать о нас, как о героях. Они не будут знать о наших житейских мелочах, об эгоизме, о низких страстишках... Но наши страдания и радости, победы и поражения, успехи и неудачи они вспомнят! Про нас тогда будут говорить: «Это были богатыри, они боролись за свободу и счастье и несли свет миру». Нам будут подражать и учиться стойкости и упорству в борьбе...

— Во веки веков, аминь!...— проникновенно закончил Вася.

Все засмеялись. На душе у всех было хорошо — легко и радостно.

По дороге мы зашли на почту, и я послал молнию Лизе. А когда проходили мимо Дворца культуры, Вася решительно направился к парадной двери, ярко освещенной двумя фонарями. На широкой площадке толпилась молодежь. Дверь поминутно открывалась, наружу вырывался густой пар и кудрявым облачком улетал вверх. Когда дверь распахивалась, слышались приглушенные звуки музыки.

— На полчасика, ребята!..— крикнул Вася, требовательно приглашая нас рукой.

— Мне в десять в оркестре выступать: значит, не на полчасика,— грустно заявил Митя.— А в час — на завод. Впрочем, музыка для меня лучше сна: настраиваюсь, как струна.

Мы вошли в огромный вестибюль, залитый светом. Он был пустой, только у прилавков раздевальни стояло несколько человек. Музыка в репродукторе, усиленная эхом, ревела оглушительно. Очевидно, публика танцевала в фойе второго этажа. Вася и Митя сбросили с себя пальто и медленно пошли к лестнице, причесываясь на ходу и оглядываясь на нас с Яковом. Митя не расставался со своей гитарой. Яков хмуро пробормотал, когда мы присоединились к ним:

— Вот еще плясуны!.. Охота же дрыгать ногами. Не пойти ли нам, Коля, на бильярде сразиться?

— Яша! — вознегодовал Вася.— Коллектив не разлагать! Мы с тобой еще русского разделаем...

На стенах вестибюля висело несколько старых афиш, и на одной из них я увидел свою фамилию. Недавно

я тряхнул стариной: прочел лекцию о самоотверженности русской женщины. Готовился я с удовольствием: здесь же, в библиотеке, перечитывал классиков, делал выписки и здесь же начерно писал тезисы. Хотя эта лекция прошла как будто удачно, но дальнейших попыток я не предпринимал: это удовольствие тяжело отразилось на моем отдыхе.

По широкой лестнице мы поднялись во второй этаж. Огромный зал фойе кипел народом. Танцевала большая группа парней и девушек, молча, старательно, с серьезными лицами. Пары двигались по кругу, ритмично шаркая подошвами и притопывая каблуками. В репродукторе ревел духовой оркестр. Девчата, завитые, принаряженные, припудренные, кружились вместе с парнями, переплетались руками, делали какие-то сложные фигуры, расходились, опять сходились, менялись местами.

Мимо в паре с сухощавым командиром-танкистом прошла Шура. За ней другая пара: Тамара Звекова с летчиком, высоким парнем с дерзким лицом, который говорил ей что-то на ухо и смеялся, но она смотрела вперед, строго сдвинув брови. Шура увидела меня и густо покраснела. Через несколько минут она вместе с Тамарой подошла к нам и растерянно поздоровалась со всеми. Тамара требовательно протянула руки к Васе, приказала:

— Продолжаем дальше!

Вася весело подхватил ее, и они утонули в толпе танцующих. Шура осталась со мною и смущенно молчала.

— Почему же вы бросили танцевать, Шура?

Она взволнованно теребила платочек.

— А я увидела вас, и мне стало совестно.

— Почему же совестно?

— Мне почудилось даже, что вы прикрикнули на меня: люди на фронте... кровь льется... а ты танцуешь!

— Пляшут и на передовых позициях, Шура. Что же тут дурного?

— Мне нравится танцевать, Николай Прокофьич... А вот танцуешь, и все время сердце ноет. Все как будто забывают о войне... Все как будто заняты своими интересами.

— А как же иначе, Шура? Люди не унывают: и трудятся и веселятся. Зачем же мучить себя мрачными мыслями? Танцуйте себе на здоровье!

Музыка замолкла, и круг танцующих начал рассыпаться. Все заговорили, засмеялись и стали разбредаться по залу. Но Вася выбежал на середину фойе и, подняв руки, крикнул:

— Товарищи, русскую!..

Многие громко подхватили его крик и ринулись к нему. Все знали Васю как виртуоза русской пляски.

— Пошире, ребята! Раздайся! Приготовьтесь, друзья: вызываю на соревнование.

Толпа шумела, смеялась, пятилась назад, но задние напирали на передних. Девчата взвизгивали, парни притворно стонали. Кто-то уже нетерпеливо отбивал каблуками рассыпчатую дробь.

Тамара подхватила под руку Шуру и почему-то сердито посмотрела на меня.

— Пошли, Шурка! Без тебя дело не обойдется. Вам, товарищ Шаронов, придется или с ней, или со мной показать свое искусство.

— Не пляшу, девочки, а погляжу с удовольствием.

Шура робко и вопросительно взглянула на меня, как будто оправдывалась: уж извините, мол, и не осуждайте, а поплясать мне очень хочется...

Баяны заиграли знакомые русские переборы. Митя толкнул меня в плечо и показал гитарой на толпу.

— А ну-ка, Коля, проберемся к Васе.

— Легко сказать... Не протолкаешься.

— Пошли! Слово знаю.

— А где Яков?

— Как где? Орудует с Васей. Когда же это русская без Яши обходилась?

Митя уверенно зашагал впереди меня и, перебирая пальцами струны гитары, повелительно крикнул:

— Дорогу мастерам самодеятельности!

И действительно, толпа расступилась перед нами, и Митя прошел уверенно, продолжая перебирать пальцами струны гитары. Его, очевидно, хорошо знала молодежь: он часто выступал на вечерах самодеятельного искусства. Ему даже похлопали и крикнули «браво».

В середине круг был небольшой, и я сразу почувствовал духоту и тепло сдавленных тел. Всюду блестели глаза в нетерпеливом ожидании. Вася стоял в центре круга и манил кого-то и улыбкой, и глазами, и движе-

ниями в такт музыки, и постукиваниями каблуков. Вдруг он вздрогнул, ударил ладонями по коленкам и выбил отчетливую дробь каблуками и подошвами.

— Ну, выходи, девушки!

Но никто из девушек не вышел, хотя видно было, что каждой хотелось выскользнуть в круг и так же отчаянно ударить каблучками. Неожиданно Вася схватил за руку Шуру и рванул ее к себе.

— Раздайся, товарищи! Еще пошире! Еще пошире! Свободу русскому размаху!

Шура стояла покорная, смущенная, с опущенными руками, готовая делать все, что потребует Вася. Он заложил руки за спину и, отбивая такт, обошел вокруг нее, подзадоривая ее смехом в глазах. Потом хлопнул в ладоши, ударил себя по груди, по бедрам, наклонился, попятился и стал руками манить Шуру. Она вдруг стала серьезной, озабоченной, сложила руки высоко на груди и поплыла назад, отбивая каждый свой шаг. Потом выхватила платок, взмахнула им над головой и стала крутиться вихрем, наступая на Васю, сердито отгоняя его. Я с удовольствием смотрел на нее и удивлялся: откуда у нее, такой молоденькой, этакая заразительная игра, гордая стать и страстные порывы?

Вася старался наступать на нее, изворачивался, пытался схватить ее своими ловкими руками, пугал ее дробным топотом, прыжками вверх и присядкой, а она, уверенная, сильная, почти суровая, ускользала и, закинув голову, смотрела на него широко открытыми, блестящими глазами — звала, отталкивала, горячила его. Кажется, что она несла в крови целые века народного веселья — какого-то, свойственного русскому народу, плясового ликования. Черт возьми, эта буря здоровой силы и удали заражала меня: у меня дрожало тело, тряслись все поджилки, как говорится, и я невольно перебирал ногами, улыбался, подбадривал криками, сам готов был броситься в круг, и, очертя голову, завертеться и лихо заработать ногами. И я видел, что и вся эта толпа испытывала то же самое, что и я: у всех горели глаза, шевелились и руки и ноги, каждый покрикивал, тяжело дышал и ничего не чувствовал, кроме этой захватывающей пляски.

Тамара не выдержала, вскрикнула, подхватила Митю с его гитарой и, закрыв глаза, пошла легкой поступью, точно поплыла по воздуху. Митя, подняв гитару

над головой, стал отбивать каблуками замысловатый узор. Вышли еще две пары. Круг сам собой раздался, толпа отхлынула, и началась массовая пляска.

9

Однажды вечером ко мне на квартиру пришел Петя с низкорослым, коренастым молодым инженером. Лицо его, широкое, скуластое, с мутными глазами, было неподвижно, как маска.

— Вот познакомься, Николай Прокофьич: Евграф Семеныч Брякин. Это технолог того цеха, куда направляют твою бригаду на прорыв. Он желает с тобой побеседовать.

Брякин молча сел на стул, который отставил от стола на середину комнаты, и стал осматриваться отчужденно и равнодушно.

Он углубился в свертывание папиросы, и я видел, что он ждет от меня деловых вопросов. Петя делал вид, что не намерен вмешиваться в нашу беседу: перебирал книжки на моем письменном столике, перелистывал страницы, пробегал глазами по строчкам и нетерпеливо бросал взгляды на нас обоих.

— Может быть, чаем вас угостить, товарищи? — предложил я, обращаясь больше к Брякину, чем к Пете.

— У меня нет свободного времени,— сказал Брякин, уткнув глаза в папиросу,— через полчаса я должен быть на совещании.

— Тогда я к вашим услугам.

Петя встал, подхватил чайник с подоконника и вышел из комнаты. В кухне у него сейчас же завязалась беседа с Аграфеной Захаровной, как видно, более интересная, чем у нас с Брякиным.

Брякин сначала зажег спичку, прикурил, потом поглядел на нее, опять поднес к папиросе, брезгливо усмехнулся и, когда спичка вся сгорела, бросил ее под ноги.

— Мне предложено всячески содействовать вам в моем цеху и создать условия для работы вашей бригады.

— Но я думаю, что это — ваша обязанность, товарищ Брякин. Без благоприятных условий работать нельзя.

— Какие же это условия?— спросил он с недоброй усмешкой, не глядя на меня.

— Да разве вы первый день в цеху, Евграф Семеныч? Ну, прежде всего обеспечить быстрейшее выполнение всяких требований бригады, заставить работать оперативно подсобные мастерские. Не мне вам об этом говорить. Я могу советоваться с вами, просить вашего содействия в решении технологических вопросов, но в мои действия без особой нужды никто не имеет права вмешиваться — ни вы, ни начальник цеха, ни даже главинж.

— Вот как!

— Да. Привычка, знаете.

— А если эта привычка противоречит цеховому распорядку? Если она бьет по трудовой дисциплине?

— Я думаю, наоборот. У нас в цеху, как вы знаете, образцовый распорядок, трудовая дисциплина превосходна, да и с Петром Иванычем мы живем в тесной дружбе. В моих рационализаторских делах — большая доля его участия.

Брякин сделал ехидную гримасу.

— Однако Петр Иванович Полынцев — в стороне, а вас прославляют на весь Союз. Любопытная странность: рабочий, будь он семи пядей во лбу, без технолога и конструктора не в состоянии шагу шагнуть. Но рабочий — это герой, а технолог — только гужевая лошадь.

— Петр Иваныч в полной мере пользуется своим правом консультанта. Он предпочитает светить своим собственным, а не отраженным светом. Карьеризм и кастовость ему чужды.

— При чем тут карьеризм и кастовость?— возразил Брякин, утопая в дыму.— Я говорю о надлежащем месте в цеху и рабочего и инженера. Я целиком отвечаю за всю технологию, за всякие ее изменения в процессе работы и за все предложения и проекты. Технологу принадлежит последнее слово.

Я предупредительно спросил его:

— То есть, иначе говоря, вы претендуете поставить свою марку на не принадлежащих вам технических нововведениях? Но кто же вам мешает быть автором новых усовершенствований?

Он сгорбился и глухо засмеялся:

— Центральная фигура и решающая сила производства.

Я уже ненавидел его как озлобленного завистника и самовлюбленного неудачника. Но я вежливо задал ему несколько вопросов о положении в его цехе. Он отвечал с натугой, посматривая на папиросу и угрюмо усмехаясь.

— Вот придете — сами увидите. Рассказывать не буду, а жаловаться — не в моем характере.

Он мрачно осмотрел мой рабочий столик и показал желтые зубы.

— Книги... бумаги... Значит, есть время для упражнения ума...

— А вы разве не читаете?

— В часы отдыха предпочитаю игру в шахматы или в преферанс.

— Как же можно, Евграф Семеныч! Есть множество вопросов, на которые хочется получить мудрые ответы.

— Я обязан быть исполнителем, а не критиком.

Я засмеялся:

— Вы цельный человек, Евграф Семеныч.

Он встал и приятельски хлопнул меня по плечу:

— Водки нет?

— Водки нет.

— Хе! Вот и выходи тут с вами за пределы узкой специальности. Вы вот ко мне загляните. Патефон. Пластинки — убийственные! Жена насчет этого у меня чувствительная. Она неравнодушна к романсам, а я — больше к Цфасману.

— По-вашему, выходит, что и джаз не подлежит критике?

— А как же? Раз мне дано и без меня решено — не суйся!

Он поворошил свои волосы, потом ощупал все карманы и пробормотал:

— Ну-с, я пошел. Пейте свой чай с Полынцевым и философствуйте. У него тоже... ум за разум заходит.

Он на ходу сдавил мне пальцы, толкнул дверь и скрылся за нею.

Я не провожал его. В прихожей он промычал что-то на вопрос Пети и глухо засмеялся.

Петя вошел с заваренным чаем и кипятком.

— Что это ты, Коля, с моим коллегой-то сделал?— с иронической строгостью спросил он.— Чем ты окрылил его?

— Наоборот, он должен был уйти от меня злым

и обиженным. Зачем ты все-таки притащил ко мне этого монстра?

— Как зачем? Он очень хотел с тобой познакомиться. Работать-то тебе с ним придется!

— Слушай, да он же глубочайший невежда!

— Почему невежда? В своей области он очень опытный и знающий инженер. Он на высоком счету.

Я не принимал участия в хозяйственных хлопотах Пети и продолжал сидеть, опираясь спиною на край стола.

— Ведь он же ограниченный педант, Петька. У него одно убеждение: все — дано, все — решено, не суйся!

Петя и тут ошарашил меня неожиданным заключением:

— Не прав ты, Николай, и в этом случае. Он влюблен в технологию и хватается за всякие усовершенствования. Но, как жадный хозяин, он все хочет пропустить через свои руки, всякую мелочь изучить лично. Поработаешь с ним — увидишь. А теперь давай чай пить.

— Нет, это же фрукт! Нас с тобой он считает людьми, у которых ум за разум заходит. Все, что за пределами его специальности, для него не существует. Литературы не знает и не желает знать, искусство для него — это джаз и фокстрот.

Петя поглядел на меня с удивлением:

— Чего же ты кипятишься? Ведь у многих наших специалистов кругозор очень ограничен. Читают мало, да и то — легкую, развлекательную литературу. Большая нагрузка. Единственная отдушина — шумный вечерок с патефоном.

— Но ведь ты-то не такой?

— И меня готовили к узкой специальности. Учебный план почти не давал нам времени для самостоятельного чтения. А ведь широкое образование достигается именно таким путем. Во втузе такая же перегрузка. Кто не имел страсти к чтению и не был любознателен, тот оставался в пределах учебных дисциплин. Я читал и развивался трудно, и страсть моя производила опустошение в моем учебном хозяйстве: зачеты проходили у меня не совсем благополучно. Но я считаю, что правительство правильно поступило: нам нужно было готовить быстро и много специалистов — специалистов узких, но крепко подкованных. А разве наши рабочие высокой квалификации не проходили такой же школы? Без математики, без

знания механики, физики, машиноведения, без заочных курсов разве можно представить сейчас передового рабочего? Только эти рабочие и способны создавать новую технологию и производить перевороты в методах труда.

Он налил себе в блюдечко горячего чаю и с наслаждением стал глотать его, сдувая пар. Так выпил он два блюдечка, не говоря ни слова. Он очень любил пить чай вместе со мною: сам готовил его и обязательно приносил с собою или печенье, или белую булочку из столовой.

Он обследовал мой рабочий столик и, усмехаясь, подмигнул мне понимающе.

— А что это у тебя там за груда бумаги? Не диссертацию ли пишешь?

Я смутился и хмуро ответил:

— Исповедь пишу.

— Чего-о! Какую исповедь? Милый друг, ты неисправимый поэт.

Лицо его стало ласковым и грустно-мечтательным. С ним бывало это только у меня, да и то редко. Обычно эта минута ласкового света в его глазах наступала тогда, когда мы говорили о литературе, о любимых писателях, о милых сердцу героях и переходили к личным переживаниям и воспоминаниям юности.

— А знаешь, Коля, я завидую тебе. Мне кажется, что у человека с поэтической душой бывают мгновения, когда открываются ему такие радости, которые для меня, например, совершенно неведомы. Есть в поэзии какой-то незримый свет, который нельзя передать словами. А этот свет озаряет жизнь и личность поэта особой красотой. Может быть, это излучение внутреннего света — какой-то своеобразный инстинкт. Вот ты пишешь исповедь, какую-то поэму своей души, а я не пишу и не буду писать: у меня нет такого инстинкта. Но как бы мне хотелось испытать это внутреннее озарение!

— Но ведь мы оба — поэты в душе, Петя. Ты напрасно приписываешь мне инстинкт художника. Это — исповедь... Ну, если хочешь, отчет в своих действиях и своих связях с людьми, — отчет перед совестью о том, как оправдал я себя в эти великие дни борьбы.

Он положил руку на мое плечо и с горячим порывом крикнул:

— Прежние мы, Коля, пламенные, романтические головы,— прежние, но иные... Мы стали умнее, мы накопили опыт стариков. Мы сохранили на всю жизнь святое недовольство,— помнишь у Некрасова?

То недовольство, при котором нет
Ни самообольщенья, ни застоя,
С которым и на склоне наших лет
Постыдно мы не убежим из строя...

Петя умел трогать сердце. Такие минуты были редки в нашей жизни, полной труда и напряжения, но эти минуты были незабываемы. Хорошо было сидеть вдвоем в моей маленькой комнатке в тишине, за стаканом чаю и чувствовать душевную близость друг друга!

С детских лет мы были связаны братской любовью, и связь эта не только не нарушилась нашей женитьбой, но стала богаче и крепче. У нас были одинаковые мысли, одинаковые вкусы, но характеры были разные. Он относился к людям снисходительно, с беззлобной насмешечкой, и был убежден, что их слабости, грубость, дурные привычки — оттого что они не ведают, что творят. А я не выносил ни грубости, ни ругани, ни пьянства, ни бесчестного отношения к труду, ни лжи, ни обмана, ни бездушия и бесился, неистовствовал, озлоблялся и приходил в ярость. И когда он видел меня в таком состоянии, он и ко мне относился мягко и снисходительно, с иронической искоркой в глазах. Я за это злился на него, но он добродушно шутил:

— Благородный рыцарь! Ты нетерпелив, а посему и несправедлив.

В тот вечер он был настроен беспокойно.

— Да, без романтики, Коля, наша жизнь немыслима. То, что любишь, чем живешь, о чем мечтаешь,— то поет в душе. А мечтать можно только о новом, и борьба самоотверженная возможна только за новое. Но есть и другая борьба... страшная, но бесплодная: борьба с собой... борьба с призраками...

Морщина страдания прорезала его лоб.

— Вероятно, я все-таки сильный человек, если до сих пор еще не сошел с ума...

— Петя!..

Мне хотелось сказать ему какие-то большие слова, которые осветили бы его своей энергией и бодростью, но слов таких у меня не было.

— Петя! Ты знаешь, как ты мне дорог... Ты знаешь также, что никто так больно не переживает твоих страданий, как я. Но, родной мой, ты не смеешь и не имеешь права подвергать себя пытке. Ты — борец прежде всего. Не забывай этого.

— Знаю... все знаю! — Он поморщился.— Зачем ты мне это говоришь?..

— А может быть, я и себе это говорю...

Я закурил папиросу и заходил по комнате. А Петя налил себе горячего чаю и стал отпивать его частыми глотками.

— Брата Игнаши нет, погиб,— говорил я, волнуясь,— и я холодею от мысли, что он мог погибнуть страшной смертью. Вот и Лиза... Она — правдивый человек, но всей правды не пишет. Смерть может сразить ее каждую минуту. Снаряд, бомба, мороз и голод — все что угодно. У Павла Павлыча погиб брат и расстреляна сестра с детьми. Надо крепко сжать зубы и делать свое дело. И еще не надо забывать, Петя, что не кто иной, а мы с тобой обязаны будем строить новую жизнь.

Он отодвинул от себя пустой стакан и закрыл глаза.

— Видеть человека... любимого, родного... лишенным рассудка... это ужасно... Я прихожу к ней, зову ее, целую, а она смотрит на меня и не видит... Какое-то страшное равнодушие... ко всему... И все время шепотом говорит: «Верочка здесь... Они прячут ее от меня... Почему они меня не пускают?..» Можно все перенести, только не это, Коля... И я часто срываюсь и бегу в заводоуправление... На фронт! В самое пекло!.. Но перед дверью директора силы оставляют меня. Я обсуждаю деловые вопросы, шучу, выступаю на совещаниях, работаю в цеху, и никто не видит, что делается у меня в душе... никто!

— Я знаю, что делается у тебя в душе, Петя,— горячо возразил я.— Но я знаю также, что ты не способен на малодушие. И еще хорошо знаю, Петя, что Наташа будет здорова.

— Что? Откуда у тебя такая уверенность?..— с изумлением рванулся он ко мне. Я увидел, что он страстно хотел мне верить, что он сам лелеял эту мечту.

— Да, Петя. Наташа будет здорова. Это пройдет.

Скоро она опять будет с тобою. Я говорил с врачами...

Я лгал: я не говорил с врачами. Я лгал и не испытывал угрызений совести от этого обмана. Он молча пожал мне руку и глубоко вздохнул.

— Я... тоже говорил с врачами... Они тоже ободряли меня... Мне казалось, что они обманывают. Но теперь я... я верю, Коля, верю... Тебе почему-то больше верю, чем всем врачам.

Я пошел проводить его. Мы шли под руку, и нам было хорошо чувствовать близость в этом снежном полумраке. Небо было черное, в россыпи звезд. Мороз пощипывал щеки и уши, и под ногами вкусно поскрипывал сухой снег. Над заводом дрожало мутное зарево.

Когда я возвращался домой по бульвару, меня схватила за плечо чья-то цепкая рука. Я испуганно обернулся и увидел перед собою высокого человека в военной шинели и в шапке-ушанке. Лицо у него было сухое и длинное. Освещенное заревом, оно показалось мне пьяным. Да и горбатый нос, тонкий и острый, как-то нахально нацеливался на меня.

— Вы фрезеровщик Шаронов,—сказал он хриплым баритоном, и мне послышалась в нем издевательская насмешка.— Знатный фрезеровщик, который дает по двадцати норм и угрожает давать еще больше.

Я отступил назад и хотел обойти его, но он засмеялся и загородил мне дорогу.

— Вы — Шаронов. Ведь я не ошибся? Свидетельствую свое почтение!

Он кривлялся и жеманничал. Ясно было, что он задирал меня.

— Что вам угодно? — с негодованием крикнул я.— Проходите своей дорогой!

— Нет, зачем же? Я видел вас только издали, а сейчас хочу вплотную рассмотреть ваше лицо. Я хочу его запомнить.

— Оставьте меня в покое! Стыдно пьянствовать в эти дни.

— Ну, во-от!— опять засмеялся он, и его смех похож был на икоту.— Человек хочет выразить всероссийской знаменитости свое восхищение, а эта знаменитость брыкается.

— Кто вы такой? — запальчиво крикнул я.— И какое вам дело до Шаронова?

— Кто я такой — это вам не интересно знать. А что касается моего любопытства — я просто питаю слабость к людям, овеянным славой.

Говорил он с шутовским подмигиванием и пьяной усмешкой. Он смеялся, но лицо его было нахально-злое. Что-то в нем чувствовалось чужое, враждебное. Я решил испытать его:

— Хорошо. Я тоже хочу знать, с кем я имею дело. Пойдемте со мною — проверим ваши документы.

Он, заикаясь, манерно приложил руку к шапке и жеманно протянул:

— О, нет! Я не люблю официальных приемов. Честь имею... До скорого свидания...

И, повернувшись, пошел от меня к площади разболтанными шагами.

10

В отстающий цех я пришел утром на следующий день. В нем работали главным образом местные рабочие. Ленинградцев было человек десять. Ленинградцы встретили меня приветливо, как родного. Это были люди седовласые, темнолицые, с усталыми глазами. Все они долгие годы работали вместе с моим стариком. Они обступили меня тесной группой и, пожимая мне руку, смотрели на меня с улыбкой в глазах.

— Ну как, Шаронов? Что пишет Прокофий Ильич?.. Как он прыгает? Эх, лихой был старик...

— А тебя — с успехом, Шаронов! Высоко держишь честь ленинградцев.

— Ну, а нам тут гордиться нечем. Через пень-колоду... Гляди, грязища какая.

Я укоризненно покачал головой и недовольно проворчал:

— А вы-то, ленинградцы, чего глядели?

Они хмуро смотрели в сторону. Один из них, с широким, костистым лицом, исполосованным крупными морщинами, с прилипшими к вискам мокрыми волосами, зло поглядел на товарищей, отмахнулся от них и хрипло крикнул:

— До смерти не люблю этой фальшивости, товарищи! Не стесняясь говорю... Мы с вами пока звезд с неба не хватали — в меру честно и добросовестно работали, а Шаронов свою технологию создает и выгоняет по два-

дцати норм. Правильно говорит Шаронов. Что мы с вами сделали? Ничего, кроме шептанья по углам да насмешечек.

— А ты-то, Хоботьев, не насмешничал, скажешь? — ехидно поддел его кто-то.

— И я насмешничал, прямо говорю. Вместо того чтобы нам самим подняться на дыбы и в бой ринуться, мы ждали... жда-али!.. (Он ядовито передразнивал кого-то.) Ждали, чтобы к нам с поклоном пришли: снизойдите, мол, ленинградцы, вызволяйте машину из болота!

— Да брось, Хоботьев!.. Зачем зря канитель разводишь... Так ли это было-то?

— А как же? — зло посмеиваясь и мигая, спросил Хоботьев.— Расскажите, как было иначе... Нечего, товарищи, замазывать. Ежели бы иначе было, Шаронова не прислали бы. Давайте-ка лучше прекратим этот разговор. И верно: повыше бы засучить рукава...

И Хоботьев пошел на свое место. Рабочие смущенно, по-одному расходились к своим станкам.

Я пошагал вдоль цеха, чтобы ознакомиться с общим состоянием этой огромной «коробки». С первого же взгляда я понял, что в цехе нехорошо. Даже в мутном и сыром воздухе было что-то гнетущее. Под ногами валялись кучи сора — стружек, болванок, обрезков металла, и к валенкам прилипала густая слякоть. Почему-то парни и девчата расхаживали по проходам, некоторые станки стояли пустые. Из-за токарного станка на меня с испуганным удовольствием смотрел белобрысый парень и, улыбаясь, манил веселыми глазами. Этих хороших юношей я привык узнавать сразу: в их облике, в глазах, в движениях дышит любовь к своей работе и неугасимый интерес к тому, что они делают. Станок у него был опрятный, стол чистый, пол подметен.

— Ну как работаете? — спросил я, улыбаясь ему дружелюбно.

— Да как сказать, товарищ Шаронов. У вас — рекорды, а у нас — грязные морды.

— Ну, уж и морды. К чему это?.. По вас я этого, например, не вижу. Давайте познакомимся...

— Баранов — моя фамилия. Незабывчивая. Работаю два года, а кажется, что только вчера стал у станка: норму не выполняю.

— Почему? Станок у вас в порядке, да и вы как будто работаете хорошо.

— Станок-то в порядке, только порядки не в порядке! Вот сейчас закончу вчерашнее задание и пойду за заделом и за резцами. Проболтаюсь минут сорок, а то и больше. Вот вам и отсекли хвост норме. А потом, товарищ Шаронов, сами посудите, как тут работать, ежели инициатива вязнет? Я работаю вот на этой штучке...

Он остановил станок, вынул блестящий червяк, покрутил его в руках и подал мне. Работа была превосходная и очень сложная. Такую работу на токарном станке можно было производить только очень осторожно и очень медленно. Нужно было не отрываясь ни на минуту следить за резцом и управлять станком чутко и четко. Эта красивая вещица похожа на игрушку, а без нее машина не двинется с места. Выяснилось, что Баранов обрабатывает за смену две-три штуки, а по норме нужно было изготовлять не меньше пяти. «Что толку,— думал я,— в моих тысячах процентов, когда эта игрушка торчит передо мною непреоборимым барьером. Мои детали лежат кучами перед этим ничтожным червяком: он убивает их и превращает в мертвую груду металла». Я стоял перед Барановым и молчал. А Баранов все улыбался, смотрел на меня с надеждой, и я видел, что он верил в мою силу.

— У нас никто еще порядком не освоил эту штуковину. Без ножа режет, проклятая... Не поверите, глаз не смыкаю... душа изболелась.

Ребят из моей бригады я не видел нигде: вероятно, они ждали меня в конторке. Я прошел в другую часть цеха и вдруг заметил Якова, который стоял за станком рядом с румяной и щекастой девушкой и что-то показывал ей. Около него стояли трое парней и внимательно следили за его руками. Он раза два повернул какой-то рычаг, и девушка вскрикнула изумленно:

— Вот здорово! А мы-то возились да пыхтели.

Парни оживленно переговаривались и смеялись.

Яков увидел меня и поманил рукой.

— Чем это ты, Яша, молодежь-то удивляешь?

— Да вот...— с гримасой ответил он, кивая на станок,— стержни обкатывают... Разве при наших темпах допустимо обдирать их? Тут другое надо: вставить болт и повернуть раз-другой. Чего проще!.. У нас в цехе давно уж применяют.

Он вышел из-за станка и подошел ко мне, не обращая внимания на ребят.

— Да вы хоть скажите, как вас зовут-то! — весело крикнула девушка.— Я ваш портрет здесь вывешу, на витрине.

Он сдвинул кепку на затылок и помахал рукой.

— Сам, дорогая, буду здесь своей персоной. Можете каждый день любоваться на мою личность. Привет и любовь!

Все засмеялись.

— Базар, а не цех,— сердито заругался Яков.— Видал, какая бестолочь, Николай Прокофьич? Заделов нет — за заделами сами путешествуют, инструментов нет — тащат у соседей или бегут в склад. А там — как на трамвайной остановке...

— А где же наши ребята, Яша?

— Наверху, у начальника цеха. Совещание какое-то хочет провести. Все начальство там. Пойдем туда, что ли?

— Нет, Яша, я здесь останусь, а ты пойди туда и заяви, что сейчас надо к работе приступать, а не совещаться. Покажите там свой характер с Васей.

Он решительно и сердито направился к средним дверям.

Везде было одно и то же: грязь, хлам, толкучка, простой станков. Как странно! Наш цех был рядом, через дорогу, там бурлила горячая молодость, прибоем била мысль, шла напряженная борьба, а здесь — тишина задворков, захолустье. Рядом идет решительное наступление, дерутся другие цехи, плечом к плечу идут вместе с ними и тысячи рабочих старого завода, где Тихон Васильевич борется, как старый ветеран за первое место на передовой линии. О нем уже говорят в области как о новаторе-сталеваре, и он не уступит первенства в борьбе. Началось движение тысячников: из единиц образуются отряды. Стрелка барометра показывает бурю! Они сбиваются во фронтовые бригады и устраивают трудовые кроссы. Почему же здесь такое сонное царство?

Я повернул назад и пошел между станками. Ко мне начали сбегаться парнишки и девчата. Они окружили меня со всех сторон и с любопытством смотрели на меня. Я остановился и с улыбкой оглядел их.

— Что же это вы, ребята? Зачем бросили свои станки? Где же у вас дисциплина-то? Увидели нового человека и сразу бросились к нему, как к фокуснику или танцору. Разве так работают?

Я говорил строго, но не мог побороть улыбки: очень уж заразительно играла в них веселая жизнь.

— Товарищ Шаронов, вы у нас будете? — настойчиво спрашивала кудлатая девочка, хватая меня за руку. Ее перебивали сразу несколько голосов:

— Вы нас, товарищ Шаронов, учить будете? Да? Вот это будет здорово!..

— Ну идите, ребята, по своим местам. Я приду к вам, и вы мне расскажете и покажете, как вы работаете.

Они заволновались, и было видно, что каждому из них захотелось стать ближе ко мне. Мне казалось, что я слышу, как у них бьются сердца.

— Вы обязательно приходите, товарищ Шаронов... Не забудьте, я — Маслякина Люба. Мы будем ждать вас каждый день...

— Я — Оля Буравина... Мы непременно организуем фронтовую бригаду.

Я заметил, что торопливо иду обратно, и понял, что иду к Баранову. И в этот же миг я услышал звяканье металла, рокот моторов и крики рабочих. В своем цехе я обычно не замечал этого металлического говора машин, их запаха и особой дрожи воздуха, свойственной заводу. Привычка к обстановке делает нас глухими к движению и шуму: многолюдная жизнь цеха и прибойный гул машин становятся родной средой. С ней сливаешься органически и не ощущаешь ее, как не ощущаешь воздуха, которым дышишь. А здесь, в этом цехе, было что-то нездоровое.

Наперерез мне, по боковому проходу, толпой шли руководители цеха и ребята из нашей бригады. Впереди шагал Брякин с застывшим лицом и злыми глазами.

— Гордый вы какой! — пожимая мне руку, сказал он.— Мы его ждем у начальника цеха, а он здесь разгуливает.

Я вежливо и холодно возразил:

— Без знакомства с цехом не считаю возможным дискутировать.

Полный человек с мясистым лицом, с испуганными глазами, в короткой шубейке и заячьей ушанке пожал мне руку. Он оторопело озирался, точно боялся идти дальше, и мне почудилось, что он сейчас же юркнет в толпу и улизнет. Это был начальник цеха. На совеща-

ниях у директора и на заводских конференциях его постоянно «продирали с песком» и грозили снять с работы, если он не выправит цеха. А он всегда отвечал с залихватским простодушием:

— Что я могу сказать, товарищи? Плохо работаем. Верно. Оправдываться не буду. Примем все зависящие меры.

Но, очевидно, «всех зависящих мер» не принимал, и цех оставался в прорыве. У него и имя было какое-то неблагополучное: Небытов Никодим Фомич.

— Ну, что ж,— сказал он с одышкой,— глаз у вас наметанный, увидеть нетрудно... Оправдываться не будем... Ругайте, ругайте...

Он показался мне забавным, и я засмеялся.

— Зачем же раньше времени ругать-то, Никодим Фомич? Ругать бесполезно, работать надо. Разрешите нам разделиться по участкам и приступить к делу.

Он весь затрепетал от радости, раскинул руки и взвизгнул:

— Пож-жалуйста, голубчик!.. Ради бога! Действуйте в свое удовольствие!.. Ежели какие-нибудь требования или распоряжения, вот вам — товарищ Брякин, вот вам — старший мастер... и вот вам... ну, да вы сами знакомьтесь со всеми.

Брякин молчал и смотрел в даль цеха. Старший мастер, насупленный старик с седыми клочьями бровей, с давно небритой щетиной на лице, стоял безучастно.

Никодим Фомич засуетился, как будто вспомнил о каком-то неотложном деле.

— Ну, действуйте, товарищи... А меня освободите: дела, дела!

И он торопливо зашагал обратно.

Брякин искоса проводил его озлобленными глазами.

— Видали такого симпатичного дядю? — спросил он с угрюмым равнодушием.— Бегемот на заячьих ногах.

— А что ж, дядя действительно симпатичный. Большой добряк... предоставляет свободу действий.

Брякин засмеялся беззвучно, встряхивая плечами, точно я сказал какую-то уморительную нелепость.

— Я согласился бы работать с телеграфным столбом, только не с этим симпатичным дядей. Он с энтузиазмом соглашается во всем и со всеми, но, как сом в омуте,— близко, а не поймаешь. Говорят, что он знаю-

щий инженер, с огромным опытом. Загадочная картинка: где в Небытове Небитов! Нигде! Ни одного места нет небитого. А он ничего — сидит и в ус не дует! Да на его месте, если бы я увидел вашу бригаду, я подох бы от стыда.

«Ну, ты тоже не так уж симпатичен и остроумен»,— подумал я.

Старший мастер безучастно и угрюмо смотрел в сторону и молчал. Вероятно, он думал то же самое, что и я. Но он не возбуждал во мне никакого интереса.

Яша вздохнул завистливо и пояснил:

— Вольное житьишко, ничего не скажешь. Существование задумчивое...

Все засмеялись, не смеялся только сам Яша да старший мастер.

Мы разделили цех на несколько участков и разошлись по местам. Вместе с Брякиным и мастером я прошел на склад. По дороге нам попадались токари и фрезеровщики, которые тащили заделы. Среди них встретился и Баранов. Он улыбнулся мне во весь рот и крикнул:

— Вот, товарищ Шаронов, любуйтесь на рысаков в гужевом транспорте! Норму буду выполнять завтра. Работаем по методу тысячи одной ночи...

Я строго обратился к мастеру:

— Надо немедленно поставить подсобных рабочих.

Старик угрюмо ответил с глухой хрипотцой:

— Не полагается. Кто будет в ответе?

Брякин ткнул меня в бок и злобно сказал:

— Вот сейчас в складе и сделаем распоряжение.

А мастер упрямо повторил:

— Не полагается. Без Никодима Фомича не пройдет.

В складе была толчея. Рабочие, мешая друг другу, искали нужные им инструменты, рылись на полках, в ящиках и ругались самыми забористыми словами. Заведующий, в шубе, в лохматой шапке, надвинутой на глаза, сидел за столиком и сосал крученку, не обращая ни на кого внимания. На нас он даже не взглянул.

Брякин подошел к нему и строго спросил:

— Почему у вас до сих пор такой кавардак? Ведь приказано все инструменты рассортировать и выдавать комплектом по письменному требованию.

Заведующий сонно оглядел его, нахлобучил шапку еще глубже и ничего не ответил.

Угрюмый мастер устало сел к столику и протянул руку к коробке с табаком. Заведующий неторопливо взял ее и спрятал в карман.

Я успокоил Брякина:

— После обеденного перерыва мы придем сюда всей бригадой и все приведем в порядок.

Брякин злобно запротестовал:

— Это — позор и безобразие! Что же о нас будут говорить на заводе, если уборкой в складе займется бригада из другого цеха? Терпеть этого не хочу: я буду просить перевода.

Заведующий поднял на меня мутные глаза, снял шапку, пригладил облезлую голову и крякнул. Вдруг глаза его прояснились, вспыхнули изумлением, хитренько заиграли, и он с неожиданной живостью вскочил со стула.

— Товарищ Шаронов! Ведь вот и не думали, не гадали... Нет худа без добра. Чую, и нам пришел черед перестраиваться. Извините, не сплетня, не наговоры, но в порядке самокритики: хозяев много — житье убого. Даю слово, товарищ Шаронов, завтра склад будет работать, как аптека. Не беспокойтесь и себя не утруждайте: ваше дело оперативное. А вы, Евграф Семеныч, не волнуйтесь. Ежели все будем так волноваться, в головешки обратимся.

Некоторые рабочие повернулись к нам и стали прислушиваться. Лицо Брякина стало серым.

— Вот полюбуйтесь, Николай Прокофьич, на этих симпатичных дядей...— У него затряслись плечи от странно молчаливого хохота.— Хозяев много, а житье убого... Каково!..

Мастер по-прежнему был угрюм и безучастен.

— Совершенно с вами согласен, Евграф Семеныч! — с радостной готовностью согласился заведующий. Разве ж я не за движение воды? Тысячу раз за...

Мне он понравился, и я — не знаю почему — поверил его обещанию.

11

В первые дни пришлось заняться организационной работой: заставить людей немедленно привести в образцовый порядок рабочие места, держать инструменты под рукой, помогать настраивать станки. Цеховому

мастеру стало, очевидно, совестно, или он освежился тем порывом ветра, который мы принесли с собой: он оживился, летал по цеху, как молодой. Моя бригада встревожила всех, заразила бодростью и весельем.

Когда я ломал голову над тем, как бы переключить деталь Баранова на фрезерование, меня вдруг осенила внезапная мысль. Неподалеку от Баранова стоял небольшой фрезерный станок, который был, вероятно, забыт всеми. Я подошел к нему и в волнении стал обследовать его со всех сторон. Понял я одно: этот станочек можно сделать своеобразным сложным приспособлением. Деталь Баранова подчиняла себе и станок и человека: чтобы выточить ряд винтовых нарезов, нужно было все силы направить на одну какую-то микроскопическую точку в данную секунду, нужно было стальной цилиндрик непрерывно направлять по намеченной линии. Говоря техническим языком, нужно было линию с большим углом наклона резать с такой же осторожностью, с таким же напряжением внимания, каких требует ручная работа. Неудивительно, что токарь мог приготовить за смену не больше трех таких червяков. Для меня было ясно одно: надо добиться, чтобы вращался или стол с деталью, или мотор с резцами. И в моем воображении живо представился богомол, которого я однажды наблюдал на юге: это насекомое хватает своими передними огромными ногами, с шипами на ляжках, кузнечика и начинает быстро пожирать его, ловко двигая головогрудью. Эта страшная работа прожорливого чудовища произвела на меня незабываемое впечатление. Движение головогруди было как будто движением мотора, очень четким, точным и изящным. И вот, обследуя этот станочек, я пришел к мысли, что один из его моторчиков можно так приспособить, что будет двигаться не деталь, а он — по детали.

Я разыскал Брякина, молча взял его под руку и повел к станку.

— Вот, Евграф Семеныч, находка: деталь Баранова режет ваш цех катастрофически. Да не только ваш цех — весь завод... Давайте снимем эту вещицу с токарного и перенесем на фрезерный.

— Ну, и что же из этого выйдет? — хмуро спросил Брякин.

Я доверчиво и дружески стал развивать ему свои

соображения насчет реконструкции станка: нужно перевернуть один из моторчиков, нужно заставить его двигаться вместе с фрезерами, нужно изменить кой-какие мелочи и т. д. Тогда, мол, вместо двух-трех червяков можно выпустить за смену до двадцати штук. Он подошел к станку и задумался. Не оборачиваясь ко мне, он затряс плечами от немого хохота.

— Что же тут смешного, Евграф Семеныч?

Он быстро повернулся ко мне и, засунув руки в карманы, оскалил свои желтые крупные зубы.

— А мне нравится, ей-богу!.. Озорной вы человек. Вы думаете, я не приметил, как вы колдовали над этой машинкой? Хорошо! Вы требовали свободы действий — ну и действуйте.

— Нет уж, извините, Евграф Семеныч! Как раз вы-то мне сейчас и нужны. Если вы одобряете мою мысль, то будьте-ка добры произвести некое разложение чисел... Без вас я ничего не могу сделать.

— Ох, хитрец какой! Дипломат!

Этот неожиданный выпад смутил меня. Он был злопамятен и обидчив, а обидчивые люди мстительны. Они неизобретательны и ненаходчивы, нежизнерадостны и неспособны к игре и задору. Они недоверчивы и лишены юмора. С Брякиным нужно было завязать дружеские отношения, поэтому я сделал вид, что сам обиделся.

— Что вы, Евграф Семеныч! Шуток, что ли, не понимаете? С какой же стати я стал бы оскорблять человека, которого вижу в первый раз.

Глаза его вспыхнули лукавым торжеством.

— Ах оставьте! У каждого есть своя балалайка.

— Вот именно... У вас — своя, у меня — своя. Ну и давайте сыграемся.

Он неожиданно облапил меня, сильно прижал к себе и даже приподнял немного. И я увидел перед собою простоватого парня с хорошей улыбкой. Куда девалась его самолюбивая замкнутость и бездушная маска!

В этом цехе наша бригада работала полмесяца. Много времени тратили мы на организацию порядка. Цех был молодежный; большинство рабочих — подростки и девушки. Мы следили за тем, чтобы их приучали к дисциплине, к рабочему месту, к станку, к чистоте, к уменью пользоваться временем. Были организованы три фронтовые бригады: ребята очень гордились тем,

что они «фронтовики», и старались не ударить лицом в грязь. По-прежнему парнишки и девчата окружали каждого из нас в обеденный перерыв и жадно расспрашивали, как добиваемся мы рекордов, что делать; чтобы и им стать как можно скорее такими же отличными мастерами. Мы разъясняли им, что нужно прежде всего хорошо знать станок и пользоваться им так, как музыкант — инструментом, что нужно привыкнуть разбираться в резцах и уметь затачивать их, что надо точно изучить работу станка при любой нагрузке и при любом числе оборотов,— только тогда будет ясно, как настраивать станок, как увеличивать выработку при различных оправках и приспособлениях. А эти оправки и приспособления — дело личное: все зависит от способностей, от изобретательности каждого, от его любви к делу. Мы говорили, что они — на войне, а на войне люди делаются героями. Часто мы разбирали работы успевающих и отстающих, заставляли ребят самих искать причины ошибок и успехов и избегать повторения ошибок в дальнейшей работе. Это были беседы живые, взволнованные, и нам самим было интересно проводить их с этим беспокойным народом.

Склад был вычищен и принял вид опрятного магазина, где номенклатура инструментов и всяких вещей была обозначена сигнатурами. Заведующий в лохматой шапке проявил необыкновенную деятельность, точно его действительно обдуло свежим ветром. На рабочих местах появились шкафчики, закрепленные за рабочими. Нам помогали и ленинградцы, и многие местные рабочие во главе с Барановым. Параллельно шла и рационализаторская работа под руководством нашей бригады: кое-что пришлось перенести из практики нашего цеха, кое-что придумывать вновь, а кое-что перехватить из предложений рабочих.

12

Однажды ночью, когда я уже ложился спать, пришел Тихон Васильевич. Вошел он тихо, крадучись: вероятно, думал, что я сплю. В прихожей он шептался с Аграфеной Захаровной, виновато оправдывался в чем-то. Потом настала тишина, скрипнула дверь. Я вышел в прихожую, постучал в кухню и, не ожидая ответа, вошел

к ним. Тихон Васильевич сидел за столом красный, всклокоченный, очень усталый. Но встретил он меня с такой радостью в глазах, точно мы очень давно не виделись с ним.

— Ну, явился наконец! — приветствовал я его, протягивая руку.— Как тебе не стыдно издеваться над женой?

Видно было, что ему до смерти хочется спать. Аграфена Захаровна хлопотала у плиты. Она не обернулась, но я по спине ее видел, что она довольна.

— Коля, кировцы первого места не завоюют, будь спокоен. Большие дела делаются...

Аграфена Захаровна огрызнулась:

— Ежели так будешь изо дня в день варить себя вместе со своей сталью — на карачках заползаешь. Я вот жаловаться на тебя пойду к директору.

Тихон Васильевич подмигнул мне и кивнул головой на Аграфену Захаровну. Потом показал большим пальцем назад за свое плечо.

— У кировцев — львы, дьявольский народ! Там один татарин есть, Османтуллов. Зверь! С ним покоя не жди. Письмо мне прислал сегодня: признаю, говорит, себя в этот месяц побежденным, а в будущем месяце угрожаю перекрыть тебя, дорогой товарищ. Ну, как тут спать будешь?

Взглянув исподлобья на мое лицо, он покачал головой, и в глубине его глаз засветилась очень добрая улыбка.

— Тоже и ты вот... не спишь, Коля. Трудно тебе, друг... Нам что! Мы — дома! А ты, можно сказать, в кулаке сердце свое держишь... И воюешь... да еще как!

Оба они всегда трогали меня своим участием, и мне было совестно, что я ничем не мог отплатить за их сердечность, кроме горячей моей привязанности. Вот и сейчас не о себе, не о своей работе говорит Тихон Васильевич, не о том, что вынуждает его не спать по суткам, а обо мне, забывая, что его работа в тысячу раз тяжелее моей.

— Обо мне не толкуй, дорогой Тихон Васильевич,— упрекнул я его,— а вот нормального отдыха ты не знаешь. Это, брат, совсем нехорошо; не к твоей чести.

Аграфена Захаровна быстро обернулась ко мне и одобрительно улыбнулась. Она даже подбодрила меня взглядом, чтобы я покрепче пробрал Тихона Васильевича.

— Разреши, брат, поругаться с тобой. Если ты так решил соревноваться с кировцами, то ты зарежешься, каким бы ты богатырем ни был. Хоть вы, уральцы, и упрямый народ, но работать нахрапом и штурмом — заслуга небольшая. В соревновании победитель тот, кто утомляется меньше, а сработает больше.

Аграфена Захаровна, ободренная, набросилась на него:

— Хорошенько его, Николай Прокофьич!.. Кроме стали, у него ничего нет в голове. Только и остается — ловить его и под замком держать.

Он хрипло захохотал, подхватил ее своей ручищей и привлек к себе.

— И будет запирать, ей-богу!.. И позору моего не устрашится...

— И правильно делает: сберегает твои силы и в разум приводит. Внушает тебе, товарищ Работкин, что в соревновании надо уметь сочетать и труд и отдых. Для этого люди придумывают разные приспособления, чтобы в час дать продукции столько, сколько даешь в смену, а потом пользоваться спокойным отдыхом и не мучить близких людей. Зачем ты пропадаешь на заводе в неположенное время? Значит, брюхом берешь, а не технологией.

Тихон Васильевич с угрюмой усмешкой взял кусок хлеба, круто посолил его и с жадностью вонзил в него зубы.

— Вы, станочники, можете всякие фокусы строить, а у нас, на мартенах, быстро не разыграешься.

— Но ведь ты же решаешь какие-то задачи? Я же знаю...

— А как же? У кировцев — такие звери и ловкачи, что оторопь берет. Один Османтуллов чего стоит. Поневоле приходится разведки делать. Поучиться уму-разуму я всегда не прочь.

— Выходит, что шапками закидать новых людей уральцам-то не так легко...— пошутил я.— Война спесивых не любит.

Аграфена Захаровна поставила перед ним полную тарелку щей, круто посыпала перцем и размешала большой деревянной ложкой. Он раз за разом отправил в рот две ложки щей, и лицо его стало вдруг благодушно-кротким.

Ел он как-то вдумчиво и деловито: хлеб откусывал

от большого ломтя, чтобы не терять крошек, щи брал полной ложкой и подносил ко рту медленно, осторожно, с суровым лицом. Я ни разу не видел, чтобы Аграфена Захаровна сидела рядом с ним за столом: она только обслуживала его, стоя у плиты, и пристально следила за каждым его движением. Это было в обычае уральцев и сибиряков, и, хотя Тихон Васильевич прошел большой путь революционной борьбы и был ударником пятилеток, обычай этот держался и в его семье.

— Наш род Работкиных — старинный, «столбовой», уральский,— говорил он не раз, когда мы сидели за чаем.— Еще при царе Петре мой пращур у печи стоял. С тех пор мы, Работкины, все — литейщики и сталевары. Деды и отцы свои секреты имели и передавали их от сыновей к внукам. Только эти секреты для нашей советской индустрии маленько устарели...

Ученики Тихона Васильевича рассеяны были по всем заводам Урала, и их с уважением называли «работкинским выводком». Он гордился этим и, когда читал в газете об успехах своих учеников, радостно волновался и щелкал пальцем по измятому листу газеты.

— Вот он, стервец, как шурует! Работкинская наука всегда высокого класса. Уральцы не посрамят земли русской.

Мне была понятна его уральская гордость: ведь и мы, ленинградцы, дорожили своими пролетарскими традициями и не прочь были подчеркнуть при случае свою историческую роль.

Сначала мне казалось, что уральцы встретили нас неблагожелательно и хмуро. Они чуждались нас, разговаривали неохотно, а иногда пренебрежительно насмешничали:

— Что ж... мы люди гостеприимные: милости просим! А вот немцев бьют наши гвардейцы и техникой снабжаем армию мы, уральцы...

А однажды на конференции передовиков производства один пожилой рабочий, такой же «столбовой» уралец, как и Тихон Васильевич, во время перерыва самодовольно сказал в разговоре с нами, «западниками»:

— Вы, москвичи и ленинградцы, может, поучить нас думаете? В ваших выступлениях душок этот чувствуется: технология да технология! А ведь не было еще таких искусников, которые удивили бы уральцев. Своего первенства Урал никому не уступал и не уступит.

Но Тихон Васильевич всегда был деликатен и никогда не кичился передо мной, хотя этот уральский патриотизм и в нем таился довольно упорно. Когда же мы монтировали свой завод и в самые сжатые сроки, не жалея себя, готовили цехи и агрегаты к пуску, а потом в жестокие морозы и вьюги, чуть ли не под открытым небом пускали в ход станки, он первый с изумлением поглядывал на меня и озадаченно бормотал:

— Здорово закручиваете... даже уральцам в диво... наперекор всяким невозможностям... Вот это — настоящая война!

Один за другим мы открывали цехи, люди не уходили со своих участков по нескольку суток, а инженеры трудились, как рядовые рабочие. Строительные работы шли параллельно, новые коробки сбрасывали свои леса, прокладывались подъездные пути, и за недостатком транспорта толпы рабочих и инженеров тащили лямками тяжелые детали машин на броневых листах. Несколько цехов были пущены раньше срока. Но старый завод развертывался медленно и трудно. Переоборудование проходило с задержками. Литьем он нас снабжал с перебоями. Новогоднее письмо в ЦК партии мы подписывали вместе с уральцами, наш завод вызывал их на соревнование и поразил смелыми и уверенными обязательствами. Я был одним из делегатов по заключению договора, и, когда мы в тревожной тишине приступили к обсуждению условий договора, я впервые увидел теплоту в глазах уральцев. Тихон Васильевич, лукаво улыбаясь, выступил и с озорным вызовом оглядел каждого из нас.

— Заранее предупреждаю вас, товарищи ленинградцы: знаете ли вы, с кем хотите соревноваться? Мы, уральцы, от кировцев вызов получили... сильный, сурьезный коллектив... и приняли этот вызов с легкой душой. И они и вы хорошо учитываете наши преимущества. Но этого мало. Вы еще не знаете нашего уральского духа. Подумали ли вы над этим, товарищи?

Отвечая ему улыбкой, я с достоинством представителя ленинградцев сказал:

— Мы подумали основательно, товарищ Работкин, и рады выразить вам свое уважение. Но вы, уральцы, не учитываете сил и возможностей рабочих города Ленина. Нам лестно побороться с вами, поэтому мы смело вызываем вас на честный бой...

Тихон Васильевич молодцевато пожал мне руку и первый расписался на договоре.

При встречах с ним у себя дома мы ни разу не говорили о ходе соревнования: как-то бессознательно избегали такого разговора, точно щадили самолюбие друг друга. Борьба шла уже два месяца с переменным успехом. Но когда цех Брякина начал выправляться, завод наш сразу пошел вверх по всем показателям. Литье попрежнему поступало с перебоями, и мы послали на старый завод «толкачей». Мы с Петей внесли предложение о введении часового графика в нашем цехе. В виде опыта этот график применяли на нескольких станках. Контролер непрерывно принимал продукцию, а распределитель собирал у него сведения и отмечал на миллиметровой бумаге. Линии на бумаге вздрагивали, шли горизонтально или опускались и поднимались. Сейчас же выяснялись причины снижения или рывков и устранялись те препятствия, которые мешали равномерной работе. Весь цех взбудоражился, и однажды в обеденный перерыв рабочие и подростки собрались около нас и потребовали ввести часовой график всюду — на всех отдельных операциях и на рабочих местах. Наш начальник цеха, скромный и молчаливо-деловитый человек, распорядился немедленно перестроить работу на часовой график во всем цехе. Теперь ход всех операций учитывался с математической точностью. Потом этот график введен был всюду на заводе. Уральцы забили тревогу и тоже схватились за график. Завязался горячий поединок. В этом поединке Тихону Васильевичу было нелегко: ему приходилось драться и с кировцами и с нами. Мы лезли вверх и одолевали уральцев по всем показателям.

И вот в этот вечер Тихон Васильевич был особенно кротким. Сидел он за тарелкой щей, ел с аппетитом голодного человека и, отдыхая, говорил благодушно:

— Ты вот об отдыхе толкуешь, Николай Прокофьич. А я всю жизнь — около печей. Привык. Придешь, бывало, домой, выспишься, а потом и не знаешь, что делать: руки лишние, голова пустая, и все тело тяжелое. Я так сильнее уставал. А придешь на завод, к своему месту,— сразу встрепенешься. Сейчас я и сменщику своему помогаю: способный парнишка, а еще молодой,— надо его самого переваривать.

Аграфена Захаровна стояла у плиты и, любуясь им, слушала и не могла наслушаться. Действительно, Тихон Васильевич говорил о стали, как о живом существе, словно сказку рассказывал:

— Плох тот сталевар, который не чувствует душу металла. Надо уметь уловить ту секундочку, когда плав созревает, и в свой момент дать ему свободу. От этого зависит и крепость брони и сила оружия. У нас, у уральцев, это чувство в крови.

К этому добродушному силачу я чувствовал дружескую теплоту, и встречаться с ним мне всегда было приятно. Когда же он пропадал на заводе, и я не видел его по нескольку дней, или он приходил, когда меня не было дома, или я уходил, когда он храпел в своей комнате,— я испытывал что-то вроде тоски по нем. Разговаривать с ним было интересно и легко: в нем привлекала большая любовь к труду и ощущение своей силы. Его личная жизнь и его работа были нераздельны: говоря о себе, он говорил о заводе, говоря о мартенах, он выражал свои заветные чувства. Но меня иногда раздражала его уральская самовлюбленность: выходило, что уральцы — это особый народ, какая-то исключительная порода людей, которым свойственны особые качества и таланты. Я подтрунивал над ним, и он благодушно усмехался.

— И чего это вы, уральцы, так кичитесь и любуетесь собою? Мы, Тихон Васильич, приехали к вам не в гости. Урал принадлежит в такой же степени и нам, как и вам. Ни вам, ни нам кичиться нечего. А вот помочь друг другу и позаимствовать друг у друга мы можем многое.

Он смотрел на меня исподлобья и ел безмятежно, с улыбкой добряка.

— А я ничего не говорю, Коля. Мы все — дети одной матери... Ну, иной раз поозоруешь для затравки, чтобы раззадорить... Конечно, есть у нас такие пустоболты, но их в счет ставить нельзя. Мы — на войне, и жить нам нужно дружно.

Аграфена Захаровна тихо подошла к нам и осторожно по-матерински положила руки мне на плечи.

— Это хорошо, Николай Прокофьич, что вы пошлепали его: есть у них, у этих горняков, свое чванство — будто благородным тавром щеголяют...

— Во, видали? — с притворным негодованием крик-

нул Тихон Васильевич.— Это называется честь мужа поддерживать...

Но Аграфена Захаровна спокойно и мягко продолжала:

— Только Тиша не такой. Вы не сердитесь на него. Слова-то у него больше так, для забавы. Побалагурить любит.

И вдруг с милой строгостью набросилась на него:

— А тебе нечего словами баловаться!.. За слова не спрячешься. Задали вам перцу приезжие, а теперь ты из завода не вылазишь. Попробуй-ка сейчас по-новому перестроиться — вот это будет заслуга. Лучше бы с Николаем Прокофьичем посоветовался.

Тихон Васильевич похлопал ее по спине и засмеялся.

— Ах ты, Милитриса Кирбитьевна! Нет тебя на свете краше, а меня, молодца, храбрее. Верно, Коля, ничего не возразишь... Здорово вы нас постегали! Приходится драться с вами не только хребтом, но и башкой. Себя перестаешь узнавать. Другим человеком стал. Я о себе говорю... А ребята, между прочим, тоже в смуте. Новое — всегда трудно. Зато это — наука победы. А в победе — всегда облегчение и свобода.

Аграфена Захаровна радостно всплеснула руками.

— Ну, слава богу!.. В себя стал приходить. Я спокойна теперь: как в бане вымылся.

Мы от души посмеялись.

13

Я уже разделся и хотел выключить свет, но в этот момент гул далекого взрыва потряс весь дом. Что-то упало в кухне и разбилось. Электричество потухло. Я подбежал к окну и увидел над крышами домов кровавое зарево и черную тучу, которая поднималась ввысь. У меня бурно забилось сердце. Взрыв на заводе... выведены из строя цехи... Что-то произошло страшное... У меня тряслись руки и ноги, и я никак не мог сладить со своей одеждой. Кое-как я нашел спички и зажег лампу. Аграфена Захаровна, потрясенная, вбежала ко мне в комнату.

— Что это, Николай Прокофьич?.. Рвануло-то как... Уж не немцы ли?..

— Ничего, ничего, Аграфена Захаровна... Идите к себе... Успокойте Тихона Васильича... Я сейчас побегу, узнаю, в чем дело.

Она скрылась в черной дыре отворенной двери, и через минуту я услышал хриплый бас Тихона Васильевича:

— Отойди, Груня!.. Слышь, что ли?.. Как я могу... ежели печи? Не мешай, говорю!.. Коля! Николай Прокофьич!

Но я опрометью выбежал на улицу. Впереди полыхало багровое зарево. Черный дым клубился высоко над бульваром. Всюду перекликались тревожные голоса, хрустел снег под ногами бегущих людей. Вдали звонили колокола пожарных машин.

В проходной была толкотня. Двое милиционеров боролись с напиравшей толпой и, освещая фонарями лица людей, орали:

— Пропуска, пропуска, товарищи!.. Не напирай!.. Сохраняйте порядок!..

А из толпы ревели:

— Давай, давай!.. Не видишь, люди с ума сошли. Тут завод взрывают, а ты хочешь порядка!..

Я кое-как пробрался вперед и выскочил на заводской двор. Всюду была кромешная тьма, пронизываемая мутно-багровыми вспышками. Перегоняя друг друга, бежали рабочие и, тяжело дыша, перекликались:

— Это — баки... Горючее полыхает... Эх, как бушует!

— Обязательно, братцы, диверсия!.. Говорят, трансформаторы разнесло...

На самой задней части территории завода, за градирнями, где проходили подъездные пути и лежали кучи обрезков металла и всяких отбросов, рвались вверх и гудели огромные языки пламени. Баки с горючим были изуродованы взрывом и валялись, как трупы каких-то невиданных чудовищ. Одна металлическая мачта высоковольтной передачи была опутана толстыми проводами, как паутиной. Рабочие, освещенные пламенем, перебегали с места на место, лихорадочно работали лопатами и просто руками бросали снег в огонь на земле. В оранжевых сугробах снега текли огненные ручьи, как лава, а ураган пламени ревел над баками, и развороченные цилиндрические их стены, раскаленные докрасна, корчились от жары. Пожарные в сверкающих шлемах что-то бросали в бушующий огонь, а через их головы летели красные фонтаны воды.

Мимо меня быстро прошел Павел Павлович, за ним — Седов и главинж. Я догнал Седова и схватил его за рукав:

— Что это такое, Алексей Михайлович?

Он как будто не узнал меня, но замедлил шаг, словно вспоминая что-то. Потом сказал будничным голосом:

— Тыловое благодушие... С горючим будет туговато. Через час восстановим электропередачу. Иди домой, Николай. Ничего особенного, к счастью... только наглядный урок. Иди и выспись хорошенько.

В толпе я столкнулся с Петей. Глаза его блестели лихорадочно, и в отблесках пламени лицо его казалось похудевшим и ожесточенным.

— И здесь! И здесь эти убийцы и диверсанты!.. Какие мы доверчивые дураки!

Огонь начал быстро утихать, и мы пошли обратно к проходной. Вместо того чтобы расстаться на площади, мы тихо пошли по бульвару. Кое-где в окнах домов тускло маячили огоньки. Зарево, вздрагивая, уже потухало. Черная туча в красных отблесках растянулась широко над поселком. Петя, как-то странно поеживаясь, бессвязно рассказывал о своем последнем свидании с Наташей. Она по-прежнему не узнавала его, но в ее поведении произошла большая перемена: она нежно разговаривала с Верочкой и счастливо посмеивалась, прижимая к себе призрак.

— Мне почему-то кажется, что это — возвращение к жизни... Как ты думаешь, Коля?

Я с горячей торопливостью подхватил его слова:

— Да, Петя, Наташа скоро выздоровеет, и вы опять заживете вместе. Я опять, как в Ленинграде, буду приходить к вам в гости. Жаль только, что нет Лизы. И песни бы попели, и поспорили...

Так, тихо разговаривая, замолкая и мечтая каждый о своем, мы дошли до конца бульвара и, когда повернули обратно, услышали позади скрип торопливых шагов. Две тени остановились и слились в одну. Они что-то невнятно забормотали, перебивая друг друга, и так же торопливо разошлись в разные стороны. Одна из теней была выше другой на целую голову. Я узнал того военного, который остановил меня на этом же бульваре. Крепко сжав руку Пети, я рванул его вперед:

— Это диверсанты, Петька! Я знаю... Бежим, захватим этого высокого!.. Его именно!

Мы сорвались с места одновременно и побежали вслед за высоким, который быстро шагал по дорожке, пересекающей бульвар. Он на мгновение остановился,

потом рванулся вперед и перемахнул через ограду на мостовую.

— Стой! — крикнул я, задыхаясь.— Стой! Стрелять буду...

Петя побежал по сугробу, но провалился до колен. Я тоже провалился глубоко в снег, но добежал до ограды и прыгнул на другую сторону. В этот миг раздался выстрел, и мне почудилось, что пуля свистнула около моего уха. Далеко по переулку бежал человек. Мы со всех ног бросились за ним. Когда-то мы с Петей были хорошие бегуны и не раз первыми приходили к финишу. Петя обогнал меня и перебежал на другую сторону переулка. Тень человека стала ближе, и мне казалось, что я слышу хриплое дыхание. Мелькнула вспышка, и опять раздался выстрел. И вдруг я увидел, что из снежного сумрака этот человек несется прямо на меня. Инстинктивно я подобрался, чтобы наброситься на него, но он вскинул руку с револьвером.

Я ударил его по руке, выбил револьвер и в ту же секунду схватил его за ногу. Он со всего размаха грохнулся в снег. Я оседлал его, схватил за горло, но он гибко вывернулся, сковал рукою мою шею. В этот момент Петя ударил его в бок ногою и отшвырнул меня в сторону. А когда я очнулся и вскочил на ноги, он душил человека и остервенело бил его головой о тротуар.

— Врешь... врешь, сукин сын...— надсадно рычал он.— Теперь не уйдешь... Я тебя прикончу... своими руками задавлю... Убийца! Бандит!..

Прибежавшие милиционеры помогли мне поднять Петю на ноги. Он сразу же пришел в себя и посмотрел на свои руки. Мы подхватили человека под мышки, он рыхло повис у нас на руках. Голова его болталась, как у трупа. Мы потащили его по дороге, и ноги у него волочились по земле, вспахивая сапогами снег. Человек очнулся только у дверей отделения милиции.

Утром я не проснулся в обычный час: случилась эта конфузная неожиданность, может быть, потому, что я плохо и мало спал после ночных событий, а может быть, оттого, что видел яркий и причудливый сон. Солнечный, знойный и очень звонкий день. Я бегу почему-то по набережной Невы — куда? зачем? — не помню, но бегу изо всех сил, тороплюсь и чувствую себя легким, сильным, молодым. И в то же время какая-то странная,

непонятная сила тянет меня назад. А впереди навстречу мне идет Лиза и удаляется от меня. Она смеется и плачет, и призывно машет мне рукой. Золотые волосы ее как будто в пламени. Одета по-летнему — в то ситцевое пестренькое платье, которое я особенно любил. И вдруг под ногами уже не мостовая, а сверкающая поземка металлических деталей. Они взлетают вихрями, бушуют вьюгой, звенят, визжат и трубят, как фанфары. Они плещут в меня, как прибой, и я взлетаю вместе с ними ввысь и наслаждаюсь своей воздушной невесомостью. И голос Лаврика поет и заливается: «Это не влияет... не влияет. Летели на карусели... Папка, пали!..» Потом — грохот и нелепая команда невидимой женщины: «Пали!.. Пушки, пали!..» Я проснулся от ужаса и быстро сел на кровати.

В дверь стучала Аграфена Захаровна и с ласковой строгостью приговаривала:

— Ну, вставайте же, Николай Прокофьич! Вот уж заспались-то! Хоть из пушек пали. А я и греночек поджарила. Мой-то уж давно удрал.

От стыда я даже озлился на себя и ударил кулаком по коленке. Нога дрыгнула, и ее подбросило кверху. Я засмеялся.

— С веселым утром, Николай Прокофьич! Когда душенька смеется, и работа — не забота. Смех через сон — к исполнению желания.

— Ой, Аграфена Захаровна! Что-то неспроста вы гадаете... Пожалуйста, не издевайтесь, что я проспал... Но за то, что подстегнули,— спасибо. Выйду — поцелую вас.

— А я подбодрю вас еще живее, Николай Прокофьич: вот у меня письмецо в руках. Угадайте, от кого!..

Я подбежал к двери и распахнул ее настежь. Аграфена Захаровна в страхе отпрянула от меня:

— Да как же вам не стыдно, Николай Прокофьич! Перед женщиной — в одних подштанниках...

— Сейчас же давайте, а то весь в прихожую вылезу.

Она сунула мне конверт и с притворным негодованием закрыла дверь.

— Позвольте, Аграфена Захаровна, когда же его принесли?

Она стояла за дверью и улыбалась — по голосу было заметно.

— Да уж принесли... Не минуло же ваших рук.

— Это черт знает что, Аграфена Захаровна!.. Значит, когда мы сидели в кухне, оно уже лежало у вас?

— А вы не кричите больно-то, а то возьму вот сковородник, да и... запру дверь-то. И гренок не дам. Убегу в очередь — вот и сидите на прогуле. Я знаю, как с вами обоими обращаться...

— Пощадите, строгая мамаша,— смиряюсь. Только скажите, почему вы не отдали мне вчера этого письма? Ведь это безжалостно с вашей стороны.

— Вот и живи с вами, постылыми!..— с притворной скорбью вздохнула она.— Оба вы какие-то малохольные: от добра беситесь, а зла не замечаете. Только недруг сунул бы вам это письмо на сон грядущий. Вам надо было перво-наперво отдохнуть на доброе здоровье.

— А черт с ним, с добрым здоровьем. Это письмо я ждал каждый день, как сумасшедший. Понимаете ли вы это или нет?

— А вы-то понимаете, Николай Прокофьич, что здоровье-то ваше для меня дороже дорогого? Письмо-то потерпит, а сон да покой не воротишь.

— Ах, какая вы безжалостная женщина!

— Ну, таких людей, как вы, жалость-то на корню режет.

Своей сердечной логикой она окончательно меня обезоружила.

Я стоял посреди комнаты босиком, в нижнем белье и не чувствовал холода. А в комнате было градусов шесть — не больше. Изо рта валил пар, стекла зеленели пушистым инеем. Я не отрывал глаз от милого почерка Лизы на конверте, и мне чудилось, что от письма пахнет ею и смотрят на меня ее проникновенные глаза. Дрожа и щелкая зубами, я юркнул под одеяло и с замирающим сердцем разорвал конверт. Лиза моя, подруга родная, я чувствовал в этот миг тебя всю и видел твои слезинки, которые я целовал в последнюю минуту разлуки...

«Родной мой, пишу тебе слабой рукою...»

До иллюзии ощущал я худенькое тельце Лизы и ее белокурую головку на моем плече. Эта первая строка, неровная, с изломанными буквами, которые дышали страданием, больно сжимали мое сердце. «Слабой рукою... слабой рукою...» Что такое с ней? Больна? Умирает?..

У меня потемнело в глазах, и, кажется, я на миг потерял сознание. Не отдавая себе отчета, я вскочил

с кровати, быстро оделся, но умываться не пошел: сил не было оторваться от письма. В заголовке, в правом углу, стояло число. Письмо было отправлено три недели назад. Оно прорвало блокаду, пробиралось под бомбежкой, под обстрелом немцев — и вот оно, драгоценная частица моей Лизы...

«Родной мой, пишу тебе слабой рукою. Только что пришла с передовых позиций. Изнурилась страшно — и от усталости, и от потрясения. Не потому, что я упала духом — нет, а потому, что слишком много приходится переживать, слишком много огня в душе, когда особенно нужны физические силы. Очень уж мы изголодались и исхолодались. Ты знаешь, как я наслаждалась уютным теплом в нашей светлой квартирке. А теперь это — далеко-далеко, в каком-то доисторическом периоде... Работаю я за троих и провожу на ногах на своем рабочем месте многие часы. Часто без всякой причины хочется плакать. Я вовсе не хочу тебе жаловаться на наши лишения. Но я привыкла не скрывать ничего перед тобою, говорить только правду, которую ты и без меня знаешь. Ведь если бы я написала тебе, что мне хорошо, что я весела, сыта и беспечна, как птица, ты возмутился бы моей неумной ложью и посмеялся бы над моей неуклюжей наивностью.

Да, сейчас мы переживаем ужасные дни. Конец января, морозы лютые. Ленинград — огромный ледяной город, где люди работают и борются с изумительной страстью и молча умирают на улицах, в домах, за станком. Жутко, когда на твоих глазах впереди вдруг падает на тротуаре женщина или мужчина... Подойдешь, поглядишь в лицо — оно трупно-восковое, открытые льдистые глаза. Идешь дальше — не оглядываешься. Душу охватывает трепет. На днях в моем цеху умерла за станком одна работница — молодая, славная такая... Села, положила руки на верстак и уронила на них голову. Я думала, что она задремала. Станок работает, а она сидит, уткнувшись лицом в руки. Я подошла, потрясла ее за плечо. Она свалилась на меня и грузно рухнула на пол. Я закричала. Подбежали рабочие и работницы, подняли ее и унесли из цеха. Все это очень тяжко действует на сердце: оно ноет, обливается кровью и кипит от ярости. Но поверь, эта скорбь и ярость не только не ослабляют воли к борьбе, а еще сильнее ожесточают душу.

Итак, сегодня я ходила на передовую линию обороны, на аэродром, чтобы увидеться с Игнашей. Со времени разлуки с тобой я посетила его раза два. Увидит меня, взмахнет руками и бежит ко мне навстречу. И каждый раз сует мне кусочек хлеба и ломтик колбаски. Я, конечно, не беру, а он злится: «Братухе на тебя пожалуюсь. Не выбрасывать же мне излишков...» А чего уж там излишки! Знаю, последние крошки отдает. Давно я у него не была, а за это время он хоть разок в неделю возьмет да и пришлет открыточку. Но тут никаких вестей не получаю от него дней двадцать. Я сильно встревожилась и в свободные часы помчалась к нему на аэродром. Ты ведь знаешь, что передовая линия находится рядом — даже в городе траншеи и дзоты. Меня провожали от одного укрепления к другому, как родную сестру. И вот на аэродроме я узнала страшную правду об Игнаше. Он вылетел с эскадрильей штурмовиков на боевое задание и исчез. Товарищи видели, как он, весь в дыму, ринулся вниз, в бездну. Как в бреду, вернулась я домой: меня словно контузило. И когда я шла по своей улице, начался артиллерийский обстрел города, но я как будто даже и не слышала грохота разрывов.

Одного я хочу: чтобы ты как настоящий большевик и русский человек встретил этот удар. Знаю, это потрясет тебя, но знаю также, что ты встретишь этот удар стойко. Тебе в тылу, вдали от нас, больнее, чем нам: мы со многим уже сжились, и нам уже ничего не страшно.

О себе говорить не стоит: все сказано. Горю, как свеча, зажженная с обоих концов. Себе я не принадлежу, но никогда еще я не чувствовала себя такой гордой и полной достоинства. Я не посрамлю чести русской женщины, кровный мой Коленька, потому что я всем своим существом отвечаю за всех, как и все отвечают за меня.

Лаврика я почти не вижу, только дедушка приносит мне вести о нем. Милый дедушка! Его суровость и нежность, которую он тщетно скрывает, очень трогательны... Он сильно ослаб. Недавно в цеху приключился с ним какой-то тяжелый припадок. Его спешно отправили в больницу, а когда ему стало легче, пришел в неистовое негодование: сорвался с койки, растолкал санитарок, едва не сбил с ног бабушку и в одном халате прибежал на завод. Его задержали в проходной и стали

уговаривать, чтобы он хоть дня два отдохнул и подкрепился в больнице, но он бунтовал еще больше. Только и смог уломать его сам директор.

Родной мой, услышала я по радио твое имя и заплакала от счастья. Точно ты сам говорил со мною. Стоит мне в минуту слабости вспомнить, что ты герой трудового фронта, я сразу же свежею, напрягаюсь, словно ты вливаешь в меня из своего далека и силу и жизнь. И я верю, знаю, что ты, мой любимый, скоро прогремишь на весь Союз какой-то огромной победой: ведь ты мятежник, новатор, боец. Вот люди говорят о чудесах, которые создают наши рабочие, и изумляются. Чему же изумляться? Твои достижения были бы чудом, когда они родились бы случайно и не были бы обусловлены твоей жизнью — твоей упорной творческой работой и напряженным исканием. Мне кажется, что ты, как и многие из наших друзей, вроде Пети Полынцева и Алеши Седова, составляете единую плеяду героев нашего времени.

До сих пор не могу без слез думать о страшной трагедии Пети. Поцелуй его и скажи, как он мне дорог. А Алеше Седову крепко пожми руку. Это человек самоотверженной воли, горячего ума и мудрого сердца. Он настоящий ленинградец: гордый и страстный характер, несмотря на его внешнюю уравновешенность. О его жене ничего не могу сообщить. Кажется, она где-то на передовой линии, как врач ведет большую работу в госпитале, который она организовала вместе со своими товарищами — медиками. Впрочем, Алеша, вероятно, знает о ней лучше, чем я.

Обнимаю тебя горячо и целую крепко. Чувствуешь ли ты в этот момент мое сердце? Родной мой, я каждый миг с тобою. Вся твоя Лиза».

Я стоял под лампочкой, читая это письмо,— стоял, как в столбняке, и впервые плакал от счастья и горя — плакал, не вытирая слез и не стыдясь их. Лиза стояла передо мною как живая, и я готов был стать перед нею на колени, как перед святой подвижницей, как перед великой женщиной, которую я постиг только теперь и которая впервые научила меня удивляться человеческой ее красоте. Зачем мне нужно было искать для своей лекции образцов величия русской женщины в классической литературе, когда моя же близкая подруга,

или простая девушка Шура, или скромная женщина Аграфена Захаровна стоят многих и многих жен, невест и матерей, о которых писали мировые художники.

14

Деталь, которая сковывала весь прорывной цех, наконец вырвалась из плена токарного станка. Вместе с Брякиным мы оборудовали фрезерный станочек и приспособили один из моторчиков гулять задом наперед. С каким наслаждением любовались мы этим его веселым задором! Фрезеры грызли металл, разбрызгивали эмульсию, дымились паром, рокотали, и мне казалось, что они радостно ворковали. Первую деталь обработал я сам. Около меня стоял по одну сторону Баранов, а по другую — Брякин. Я очень хорошо чувствовал, как они волновались. Я вынул готовую блестящую игрушку и посмотрел на часы: шестнадцать минут! Баранов глядел и на меня и на червяк, и у него дрожала на лице улыбка ребенка.

— Это же... это же, товарищ Шаронов... черт те знает что!.. Это же ведь... погодите-ка... в час четыре штуки, а за смену... Товарищи, ведь это же за смену — сорок!..

Он оттолкнул меня от станка и дрожащими руками охватил болванку. Я уступил ему место с удовольствием. По его уверенным движениям я понял, что парень хорошо может работать и на фрезерном станке. Мы взволнованно переглянулись с Евграфом Семеновичем, и я увидел, что глаза его влажны.

Я вспомнил, с каким увлечением работал он над реконструкцией станка. Он постоянно обращался ко мне за советом по всяким пустякам, точно боялся, как бы ему не ошибиться, не оскандалиться передо мною, сам возился с разборкой и сборкой, как простой рабочий. Встречал он меня радостно. Он распахнул передо мной свою душу: рассказал, как безотрадно жил с пьяницей-отчимом, литейщиком, как учился в школе с постоянным страхом в душе, что не выдержит и сбежит из дома, где он каждый день попадал под кулаки отчима. Эта нелюдимость и озлобление остались с тех детских лет. Но он все-таки добился своего: кончил школу и поступил в индустриальный институт. Работал над собой с большим трудом. Близких товарищей у него не было, схо-

дился с людьми туго, общее развитие было слабое, на чтение книг не хватало времени.

Он жил одной мечтой — быть инженером и работать на каком-нибудь большом заводе. Окончил институт отлично и получил место конструктора на одном из уральских гигантов. Тут он как-то незаметно женился на дочери одного старого инженера. Сам-то он, может быть, и не решился бы на это, но девица была шустрая, напористая, рвалась из родительского дома и сама проявила инициативу. Тесть его был, вероятно, честный и работящий человек. Брякин работал под его руководством и пользовался его симпатией. Он был своим человеком в семье старого инженера. Как-то старик откровенно сказал ему:

— Вы парень трудолюбивый и инженер способный. Искренне предупреждаю вас, Евграф Семеныч, с Ленкой вам будет трудно — избалованная девчонка, своенравная. Измотает она вас, милый человек.

Брякин не ужился на заводе и его перевели к нам технологом. Как и нужно было ожидать, жена работать отказалась.

— Я выходила замуж не для того, чтобы работать.

— Но нам трудно жить,— попытался он убедить ее.— Мой заработок небольшой. Для вечеров, угощений и нарядов средств у нас нет.

— А это уж твое дело. Не надо было жениться. Своим принципом я не поступлюсь. Впрочем, насчет вечеров и нарядов — это не твоя забота. Мне папа поможет. А потом у меня есть связи.

При чем тут были связи, он никак не мог понять и махнул на нее рукой. Но она постоянно все-таки требовала денег, и он отдавал ей всю заработную плату. С раннего утра он уходил на завод, возвращался поздней ночью, голодный, усталый, и сразу же попадал в шумную компанию. Кто были эти гости — завитые, накрашенные девицы и дамы и какие-то актерского вида молодые люди,— он не знал. Для приличия он сидел с ними полчаса, танцевал фокстрот под патефон, а потом незаметно уходил в другую комнату и ложился спать. Как жена проводила время без него, он не представлял себе, да и интересоваться было некогда.

— Вам, Евграф Семеныч, не такую жену нужно,— сказал я ему на вопрос, как я смотрю на его семейную жизнь.— Вы из рабочей семьи, прошли суровую школу,

сами работяга. Ваш тесть был прав: стрекоза и муравей — плохие товарищи.

Он угрюмо замолчал. Мы опять погрузились в работу. Я уже забыл о нашем разговоре, и вдруг, в то время когда мы прилаживали мотор, он прервал работу и сказал:

— Ну, так вот я и жду, когда она сбежит от меня. Я тоже упрямый: денег больше ей не даю. Только на обед — домработнице.

Наша работа над реконструкцией станка вызвала большое волнение в цехе. Все лихорадочно ждали того дня, когда мы пустим его в ход. Меня и Брякина ловили на каждом шагу и нетерпеливо спрашивали, что мы делаем с моторами, как будут работать фрезеры и когда, наконец, наша диковина покажет себя. И вот в одну из дневных смен Баранов с засученными рукавами стал на свое место. Со всех сторон к нему бросились люди. Некоторые взобрались на верстаки, и их невозможно было стащить. Особенно рвалась вперед молодежь, а старые рабочие стояли с застывшими улыбками и внимательно рассматривали оттопыренный моторчик. Баранов, бледный, взвинченный, укреплял фрезеры, вставлял болванку и часто стирал пот со лба. Перед ним горкой лежали заделы, и мне казалось, что он посматривал на них с оторопью. Он никогда не переживал таких жгучих минут, и ему было жутковато начинать работу перед возбужденной толпой. Но, чтобы побороть свое волнение, он весело подмигивал кому-то и смущенно улыбался. Мы с Брякиным стояли около него и следили за каждым его движением. Я сам волновался, кажется, не меньше его. И не потому, что опасался какого-нибудь срыва, а потому, что был заражен общим волнением. Конечно, волновался я и как автор: мне очень хотелось, чтобы все эти юнцы и старики удивились и загорелись, чтобы каждый из них с радостной завистью рванулся к своему станку, как боец к своему оружию. Я смотрел на эти запачканные заводской пылью лица, на горящие глаза парней и девушек и чувствовал в их напряженном молчании не простое любопытство, а жажду нового, ожидание большого события.

Пришел Владимир Евгеньевич и стал рядом со мною. Он не сказал ни слова, но я знал, с каким нетерпением ожидал он сам этого дня. Приходил он к нам несколько раз за смену и подолгу следил за нашей ра-

ботой. Он задавал нам вопросы, и мне казалось, что наши разъяснения он слушал с раздумчивым сомнением. Прибежал и Седов. Пожимая нам руки, он улыбался всем с лукавым задором: вот, мол, сейчас ошарашим вас, потрясем ваши души, берегитесь!

— Ну как, готово, товарищи? — спросил он не угашая улыбки.— Значит, начинаем? Вот и отлично. Действуйте!

Все зашевелились, кто-то рядом со мною вздохнул облегченно, кто-то торопливо зашептал. Я дал знак Баранову, и он включил мотор. Маленький моторчик, как живой, задвигался около вращающейся болванки, фрезеры со страшной быстротой стали вгрызаться в металл. Брызги эмульсии и пар веером разлетались в стороны. Но Баранов действовал осторожно: он еще боялся, как бы не запороть и фрезеры, и деталь.

— Давай быстрее! — подбодрил я его и сам протянул руку к рычагу, но Баранов отклонил ее. Фрезеры заскрипели, заскрежетали еще сильнее, пар заклубился еще гуще. Брызги разлетались далеко и, как иголки, вонзались в лица людей. Они инстинктивно стирали пальцами уколы, переглядывались и подмигивали друг другу.

Все эти плотно сбитые в кучу люди стояли как завороженные, их глаза блестели, не отрываясь от станка. Щеки у девушек пылали румянцем. Когда Баранов остановил мотор, толпа туго подвинулась вперед и как будто охнула. Баранов вынул серебристый червяк, окунул его в воду и, как фокусник, показал его всем, поворачиваясь и вправо и влево.

— Вот этого червяка я точил, ребята, целую смену, а сейчас, как видите, продрал его в четырнадцать минут. За такие дела виновников награждают, а уж я поцелую их.

И он схватил меня за плечи и поцеловал три раза крест-накрест, а потом бросился и к Брякину. Нас оглушили аплодисменты, смех, крики. Толпа забурлила, сдавила нас со всех сторон, и каждый старался продраться ко мне, к Брякину, к Баранову, чтобы пожать нам руки. Девчата и парни наперебой спрашивали нас о чем-то, тормошили, требовали чего-то, и в этом вихре криков и толкотни ничего нельзя было разобрать. Мне стало душно. А Баранов кричал:

— Ты пойми, голова: ведь сорок пять норм! Это же ведь черт те знает что!.. Месяц спрессовали в один день... а?... Теперь я знаю, что такое летать на крыльях...

Кто-то из толпы поднял руку:

— Товарищи! Слова прошу... Товарищ Седов!.. Душа кипит...

И, не ожидая, когда обратят на него внимание, закричал, стараясь покрыть гул и крики толпы:

— Товарищи, мы, правду сказать, спали... спали и ждали... Дождались, когда ударили... Пришли к нам... и даже оглушили, товарищи... А нам надо было самим... Грянул гром, и я стал другим человеком...

Кто-то обиженно обрезал его:

— Да что ты раскричался!.. Один ты, что ли?.. При ветре-то весь лес шумит...

А прежний голос перебили другие голоса:

— Теперь каждому пошуметь хочется. А почему раньше не шумели?

— А потому... когда нет ветра, и лист не шелохнется.

— Как это нет ветра?.. Буря сейчас, товарищи... Война! Выходит, мы и войны не чуяли?.. Не дело говорите, товарищи...

Крики и толкотня разгорались. Все хотели говорить, каждый старался высказать то, что бурлило у него в душе. Седов поднял руку и с трудом добился тишины.

— Товарищи, это больше, чем победа: это — переворот. Для вашего цеха наступили дни подъема и большой борьбы. У вас есть за что бороться и есть силы, чтобы побеждать. Вам не только придется догнать самих себя, но и драться так, как дерутся те товарищи, которые пришли к вам на помощь. Они многое для вас сделали, а главное, показали вам, как надо быть находчивыми, изобретательными, чтобы побороть препятствия. Соревнование создает постоянное беспокойство и горячее стремление быть победителем... Поблагодарим товарища Шаронова и товарища Брякина за их замечательный пример творческого дерзания... Бригада товарища Шаронова...

Дальше ничего не было слышно, что говорил Седов: опять раздались рукоплескания, опять крики. Отчетливо было слышно одно слово: «Соревнование... Соревнование...»

Я спросил у главинжа:

— А где же Никодим Фомич?

Он бесстрастно ответил:

— Он — хороший человек, но плохой музыкант. В нем нет горючего. Снят.

В этот день я не имел ни одной свободной минуты: переходил от одной бригады к другой, выслушивал различные предложения, давал указания, разъяснял, подбодрял, успокаивал горячих и рьяных...

15

Большой радостью для меня было возвращение в свой цех, куда я принес готовую конструкцию приспособления для непрерывной обработки одной детали. Она не давала мне покоя. Мне казалось, что если я не доведу до конца этой работы, я не выполню своей клятвы. Пожалуй, я даже и не думал о своей клятве: она, как кровь, была неощутима, но насыщала все мое существо. К тому же меня захватила новизна конструкции; каждую минуту я был во власти этого образа. Он преследовал меня и в цехе и дома, он то приближался, то удалялся от меня.

Я не раз хотел посоветоваться с Петей, но сдерживал себя в последний момент. У меня как-то вошло в привычку хоронить в себе свой замысел — до тех пор таить его, пока не добьешься ясности и законченности. Я боялся одного: стоит только открыть тому же Пете мою мысль, стоит выложить все, что терзает меня, и вся прелесть мечты, вся волнующая острота борьбы исчезнет. То, что обжигало душу, потухнет, распадется. Вся глубина и смысл душевного смятения — в тайне замысла, в тайне мучительных исканий.

В нашей литературной критике иногда раздавались голоса, что невозможно поэтизировать машины и те вещи, которые производит человек с помощью этих машин, что поэтизация машин обезличивает человека и превращает его в придаток механизмов. Но это утверждали люди, которые не имели понятия о глубокой и величественной красоте механизмов, об их изумительной жизни и волшебной согласованности их движений. Эти движения прекрасны, как человеческий организм, потому что эти механизмы — чудесное создание человеческого гения. Что может быть поразительнее в мире,

чем человек, вооруженный сложными двигателями и аппаратами, способными делать вещи самого тончайшего рисунка и производить циклопические работы одним нажимом рычага! Почему в былые времена, когда человек в своем маленьком сельском миру делал все своими слабыми руками, поэтизировались и воспевались соха, грабли и сивка? Почему сельская жизнь — это поэзия, а завод с тысячами людей и чудесных машин — скучная проза? Я думаю, это потому, что наши художники не знают этой сложной и огромной жизни, для них она — за семью печатями, на краю земли. Надо войти в этот великий мир, полюбить его, слиться с ним, отдаться ему всей душой, удивляться ему, чтобы преобразить его в поэтические образы нетленной красоты. Я говорю о творце этого мира — о нашем человеке.

Может быть, поэтому я так страстно люблю нашу литературу. Я перечитываю классиков и наслаждаюсь неувядаемой красотой их созданий. Но литература наших лет, литература, с которой я вместе рос, которая волновала меня, будила мысль, поднимала, окрыляла душу,— наша советская литература — это моя жизнь, мои мятежные порывы, мое настоящее и будущее. В минуты раздумий и душевных волнений я садился к столу и с бьющимся сердцем писал поэмы и повести. Я никому их не читал, не открывал этой тайны даже Лизе: я считал, что это — не литература для печати, что это — только разговоры и песни наедине с собой. Только сейчас вот эту повесть моей души я пишу не таясь: это отчет о моей борьбе как гражданина и воина.

...Был один из тех вечеров конца марта, когда чувствуются и первые запахи весны, и острота ночных морозцев. Снег еще лежит сугробами в палисадниках, у фасадов домов и на обочинах бульвара, а мостовая уже чернеет булыжником или асфальтом. Покрикивают потревоженные галки на деревьях, а по аллеям бродят, тесно прижимаясь друг к другу, юные парочки. Я с удовольствием дышал свежим воздухом, хотелось подольше побыть на улице, полюбоваться густой россыпью мерцающих звезд. Я люблю смотреть на небо такими вечерами: в нем всегда читаешь книгу своей жизни, оно говорит о детстве, о годах юности, о самом дорогом, милом и незабвенном. Оно, как поэзия, сохраняет только самые трогательные воспоминания. Это небо, эти созвездия тоже мерцают сейчас там, в Ленинграде, а Лиза, может

быть, тоже смотрит на них и думает о нашей молодости, о нашем счастье...

На бульваре было безлюдно, только изредка попадались навстречу одинокие прохожие. Иногда с оглушительным грохотом проносился трамвай, туго набитый людьми, и на фоне пролетающих огней ветви деревьев причудливо сплетались между собою, как кружево.

Мимо прошли две девушки под руку. Одна крупная, высокая, а другая маленькая, как подросток.

— Это Шаронов... Слышь, Шурка!..

Я хотел было свернуть на боковую дорожку, чтобы выйти на тротуар, но услышал за собою бегущие шаги и взволнованное дыхание.

— Николай Прокофьич! — робко и виновато позвала меня Шура. Я узнал ее по этому нервному и робкому голосу.— Николай Прокофьич! Подождите минутку!..

Я остановился.

Она подбежала неуверенно и смущенно, а когда остановилась, вскинула голову, глубоко вздохнула и стыдливо засмеялась. Подруга ее медленно удалялась от нас и таяла в снежной полутьме.

— Николай Прокофьич, я... я давно хотела... посоветоваться с вами...

Я взял ее под руку и подвел к скамье.

— Что-нибудь случилось, Шура?

Она немного отдышалась и опять нервно засмеялась. Мы сели на скамью, врытую в землю, очень низенькую, занесенную давнишним снегом.

— Ах, Николай Прокофьич! Мыслей у меня много, желаний много... Родина такая большая, а я такая ничтожная... И вот даже на маленький подвиг, должно быть, не способна... Думаешь: ну хоть бы выпало мне счастье собой пожертвовать!..

— Вы же работаете, Шура, чего же вам еще нужно? Подвигов не ищут — их совершают не думая о них. Подвиги там, где горячая любовь, — любовь к труду, к борьбе, к людям... Я думаю, Шура, что вы, сами того не замечая, и совершаете эти подвиги.

— Нет, не говорите мне этого, Николай Прокофьич! Я еще девчонка. Что я могу? Ни знаний, ни опыта. Хотела на фронт медсестрой — не вышло. Донором стала... но разве это подвиг?.. На завод пошла. А что из меня толку?.. Все у меня как-то нелепо, глупо... точно плутаю на голом месте... И вот последнее... Тут я уже совсем

увязла... Тамара сейчас прогнала меня, чтобы я вам все выложила... И я думала, да духу не хватало... Но вы все поймете... потому что вы сами страдали и страдаете... У вас жена в Ленинграде, а там люди умеют страдать и бороться... Там-то и держат экзамен на человека...

— Почему же только там, Шура? — мягко возразил я.— Экзамен на человека мы держим и здесь.

— Да, конечно,— живо согласилась она, но торопливо добавила: — Я только говорю о том, Николай Прокофьич, что там, вероятно, люди считают преступлением хвастаться, рисоваться.

Я знал ее мало: я видел ее у станка, старательной, восприимчивой и немного странной. А теперь я чувствовал ее иной: она жила не только работой у станка, не только интересовалась своими трудовыми успехами и обычными делами, но и чем-то другим — большим, опалившим ее душу. В голосе ее чувствовалось смятенье.

— Эти месяцы, Николай Прокофьич, для меня прошли, как годы. Мне кажется, что я даже состарилась. Вы знаете, что мы, комсомольцы, взяли шефство над одним госпиталем. Мы, девушки, стали ходить к раненым бойцам и командирам — читали им, писали письма. И вот привязалась я к одному лейтенанту... Ну, и он ко мне, конечно... Молодой совсем, как мой одноклассник. А ранение у него очень серьезное: кисть руки оторвало и половина лица изуродована, кожа сорвана сверху до подбородка. Но глаза такие ясные, такие доверчивые... Читаю я ему и чувствую: смотрит он на меня не отрываясь и что-то переживает. Оторвусь от книги — встречаю молчаливые глаза, жуткие такие. Вижу, не слушает он меня, а думает о чем-то мучительно. Однажды я спросила: «Миша, что с тобою?» Мы уже привыкли звать друг друга, как близкие товарищи: он меня Шурой, я его Мишей. Платок у него на груди всегда лежал. Взял он здоровой рукой этот платок и вытер слезы. Чужим каким-то голосом ответил мне: «Да, Шура, мне больно... не от ран, нет... а страдаю и больно мне оттого, что для радостей жизни я — человек уже конченый. Какая девушка полюбит меня теперь без руки... с ободранным лицом?.. Я могу только возбуждать... хотя бы вот у тебя... одну жалость, сострадание...» — «Что ты,— говорю,— Миша! Разве любят только за здоровое тело? Любят человека, Миша». И прямо в лицо ему, не заду-

мываясь, сказала: «Я очень тебя полюбила... Понимаю тебя и чувствую... И ты мне дорог на всю жизнь...» — «Ах,— говорит,— что ты мне толкуешь, Шура! Ведь это только слова... такие слова, которые может сказать каждая сердечная медицинская сестра... И хотел бы,— говорит,— да не могу поверить. Не понимаю,— говорит,— ...и ничто меня не убедит...» — «Хорошо,— говорю,— Миша, я готова стать твоим близким другом на всю жизнь, женой твоей, и буду счастлива, если ты будешь счастлив со мной». Только я это сказала, он глаза закрыл, побледнел. Я даже испугалась и хотела уж на помощь звать. Но он открыл глаза и тихо приказал: «Уходи от меня сейчас же! Слышишь? Уходи и больше ко мне не являйся!» Слушаю я его, а ноги и руки немеют, сердцу холодно, и все закружилось вокруг.

Она замолчала и опустила голову на грудь.

— Ну, и что же, Шура?.. Видели вы его после этого?

Она судорожно вздохнула и твердо ответила:

— Я приходила к нему два раза, но он не допустил меня. А сегодня, когда я вошла к нему в палату, он даже на локте поднялся и крикнул: «Уходи! Я не хочу тебя видеть. Сейчас же уходи!..»

— Скажите мне откровенно, Шура, действительно ли вы его любите? Нет ли здесь самообмана, насилия над собой?

Она помолчала, подумала и горячо сказала:

— Я сама потом мучилась... Но одно скажу: для меня сейчас такая радость быть около него...

И вдруг в порыве отчаяния и надежды она схватила меня за руку и умоляюще воскликнула:

— Ну, скажите мне, Николай Прокофьич!.. Скажите мне, что делать... Он мне не верит... Он думает, что все это у меня от жалости к нему, что я жертву ему хочу принести...

Я слушал ее и чувствовал, что сам беспомощен. Ну, что я могу посоветовать ей? Чем могу помочь? Не идти же мне самому к этому лейтенанту, чтобы убедить его в том, что он не прав, что он не оценил души этой девушки? По его поведению видно было, что он парень честный и не способен красть счастье; обманное счастье он отвергает, потому что такое счастье — не настоящее. Он хочет не жертвы, а полной молодой радости. Он не верит Шуре потому, что в себя не верит: как может здоровая, миловидная девушка полюбить калеку?

— Я не знаю, что вам сказать, Шура...— ответил я сдержанно.— Но мне кажется, что вы должны заставить его почувствовать, что вы именно та девушка, которая пришла к нему сама.

Она рванулась ко мне.

— Но как? Как, Николай Прокофьич? Он же меня не допускает к себе...

— Не знаю. В этих случаях советовать нельзя. Если вы действительно любите его и он вас любит... мне кажется, что любит... вы сами найдете выход. У любви — свои дороги, для нее нет преград.

Она нерешительно встала и задумчиво протянула мне руку.

— Спасибо вам, Николай Прокофьич!..

— За что же?

— За то, что вы слушали... и поняли.

Она медленно пошла по дорожке бульвара и растаяла в снежном сумраке ночи.

16

Огромная радость...

Из заводоуправления я получил раскрытую телеграмму:

«Нахожусь в госпитале в Казани. Страшно хочу тебя видеть. Обнимаю, целую. Игнат».

К телеграмме была приложена записка Павла Павловича:

«Дорогой Николай Прокофьич! Не сердитесь за вскрытую телеграмму: распечатана по ошибке. Счастлив вместе с вами. Если вы пожелаете поехать или полететь к брату, рад содействовать вам. Когда же пускаете в дело новое приспособление? Крепко жму руку. Ваш П. Буераков».

Все смешалось передо мною: машины и люди завертелись в воздухе, и сумеречный цех залился светом. Помню, что я замахал руками и закричал во всю глотку:

— Игнашка жив!

Я кружился на одном месте, потрясая телеграммой, и смеялся.

Первый подбежал ко мне Вася, схватил за плечи:

— Говори, что стряслось, а то сам плясать буду...

— Пляши, Вася! Игнаша, братишка, жив... Вот телеграмма... В Казани, в госпитале...

Вася выхватил у меня телеграмму и впился в нее глазами.

К нам начали подходить рабочие, и телеграмма пошла по рукам. Меня поздравляли, жали руки, обнимали... Я не видел лиц и не ощущал рук. Не заметил я также, когда разошлись рабочие и как водворилась тишина. Очнулся я от тихого голоса Шуры:

— Николай Прокофьич, я остановила ваш станок: деталь запорота. Поздравляю вас, Николай Прокофьич!

В этот день я дал новый рекорд и решил завтра вместе с Петей провести испытание нового моего приспособления. Удивительно, я не испытывал никакого напряжения. Я довел станок до последних пределов скорости. Фрезы дымились, эмульсия дышала паром и мельчайшими брызгами вонзалась в лицо.

Петю я нашел в инструменталке. В синем халате, он стоял у стола и, увлеченный какой-то работой над аппаратом, не заметил, как я подошел к нему. Я сунул ему телеграмму и посмотрел на него так, что он растерялся.

— Ты... не пьян?.. Что-то я тебя таким никогда не видел...

— Пьян, Петя... от счастья пьян! Читай скорее!..

Он пробежал глазами текст телеграммы и, возвращая ее, сказал спокойно:

— Поздравляю. Очень рад за Игната. Поедешь?

— Непременно.

Он опять повернулся к аппарату.

Этот диск, похожий на металлический цветок, был еще в первородной чешуе, он не сверкал еще отшлифованной красотой своих частей, в нем не было еще жизни, но он, казалось, трепетал от желания срастись со станком. Он лежал перед нами на столе, освещенный электричеством, и мы чувствовали, что он нам бесконечно дорог: сколько заключено в нем бессонных ночей, сколько мучительной борьбы, исканий и кропотливой работы! И вот в результате — простая игрушка, каруселька с автоматическими зажимами, которая непрерывно подхватывает новые и новые поделки, и фрезеры начинают жевать сразу же двадцать деталей. Это — маленький конвейер, который вращается плавно, словно играя, смеясь и воркуя.

Мы еще раз проверили его на станке и еще раз пережили радость творческого удовлетворения.

— Как чудесно вышло, Николай!..— с улыбкой сказал Петя, снимая халат.— Воскрес Игнатий, и явилась на свет эта карусель. В этом хочется видеть какой-то глубокий смысл...

Мы вышли на площадь, горящую мартовским солнцем. Старый снег, покрытый пеплом, изрыт был солнечными лучами и сверкал алмазными иголками. Высокие дома вокруг площади ослепительно блестели белыми и желтыми стенами. Орали грачи на бульваре, и от их радостного крика хотелось смеяться. Как-то особенно отчетливо звучали голоса детей. Далеко за городом, на взгорьях, туманно темнели сосновые леса; и воздух там был сиреневый. Сверкая плоскостями, реяли над нами, очень высоко, несколько призрачных самолетов. Их струнный звон плыл к нам глухими волнами.

— Новая партия штурмовиков...— сказал Петя рассеянно, не думая о них. И когда я увидел их перламутровый блеск, я не утерпел и крикнул:

— Игнаша! Родной! Я увижу тебя скоро!.. Ах, Петя, как это замечательно!..

Он медленно повернулся ко мне и посмотрел на меня грустно.

Мне стало стыдно своего счастья.

Расстались мы молча. Он пожал мне руку и, не оглядываясь, пошел своей дорогой.

На бульваре меня поджидала Шура. Большие ее глаза смотрели мне навстречу пристально и нетерпеливо.

— Я вас провожу немножко, Николай Прокофьич,— сказала она, взглянув на меня вопросительно.

Мы некоторое время прошли молча.

— Вчера я получила записочку от Миши. К нему меня не пустили.

Она вынула измятый клочок бумаги и прочла:

«Не приходи ко мне больше, забудь обо мне... я предпочту скорее умереть, чем принять твою жертву».

— Ну, что вы на это скажете, Николай Прокофьич?

— А у вас-то самой, Шура, есть ответ?

Она вздохнула и подняла голову.

— Сейчас иду к нему. И никто меня не удержит. Я измучилась, Николай Прокофьич, но для этого последнего решения сил у меня хватит.

Лицо ее раскраснелось, и глаза лучились. Я уже по-родному любил ее — простую, горячую русскую девушку, жаждущую беззаветной любви и подвига.

17

От Лизы не было ни писем, ни ответа на телеграмму. И я опять начал нервничать. Я телеграфировал ей, что Игнаша жив и находится в госпитале и что на днях я поеду к нему в Казань.

Обидно, что отец не прислал мне за этот год ни одного письма. Впрочем, не удивительно: он вообще никому не писал. О своем трудном житье и работе он тем более не будет писать. Держать ручку или карандаш он не охотник. Это занятие он предоставляет Лизе и знает, что она напишет мне о нем все, что найдет нужным.

Испытание моего приспособления прошло хорошо, но никогда еще я так не волновался, как на этот раз. В цех нагрянули все руководители завода во главе с Павлом Павловичем, Алексеем Михайловичем, главинжем и начальником конструкторского бюро Забываевым — седовласым молодым человеком, который почему-то смеялся при разговоре. Слушает он других серьезно, но когда отвечает или доказывает что-нибудь — смеется.

Первый подбежал к нам Забываев и сразу вцепился в прибор. Он начал вертеть его в руках и жадно осматривать со всех сторон.

— Любопытно, за-ни-ма-тель-но...— сиповатым тенорком бормотал он и смеялся.— Можно было бы приготовить изящнее и для глаза привлекательнее, но по простоте, по целесообразности — это творение природы...

И трудно было понять: восхищается ли он, или издевается над нашим изделием. Но Павел Павлович лукаво подмигнул нам и прикрикнул на Забываева с шутливым негодованием:

— Ну, ну, чего заграбастали! Вот завидущее бюро! Нечего чужими руками жар загребать, сами выдумайте!

Он взял прибор из рук Забываева и сразу же стал серьезным, вдумчивым и строгим. Внимательно и неторопливо осмотрел он каждую деталь и соображал, как должна идти работа с помощью этого аппарата. Седов прислонился к Буеракову и даже приложился щекой

к его шапке. Главинж, Владимир Евгеньевич, стоял неподвижно и смотрел на прибор бесстрастно. Но он успел уже раньше ознакомиться с ним, и теперь как будто совсем им не интересовался. Откинувшись назад, Павел Павлович торжественно протянул Пете аппарат.

— Вручаю вам это творение природы и прошу вдохнуть в него душу.

Но Петя отступил на шаг и улыбнулся мне.

— Не по адресу, Павел Павлович. Вот автор этого творения.

Я загорячился:

— Это возмутительно, Петр Иванович! Я такой же автор, как и ты.— Подхватил прибор из рук директора и перенес его на станок.

Седов улыбался про себя и хранил молчание. Павел Павлович озадаченно поднял брови. Он обменялся с Седовым и главинжем лукавой переглядкой и развел руками.

— А все-таки, кто же из вас автор-то? Ну-ка, разоблачайте друг друга.

Петя показал пальцем в мою сторону и засмеялся.

— Ну, конечно, он.

Я огрызнулся:

— Я — в такой же степени, как и он.

Но Петя уже серьезно пояснил:

— Моя роль была скромной: я был только консультантом.

Седов усмехнулся, пожал плечами и обличил меня:

— Ну, чего прибедняешься, Николай Прокофьич! Ведь все же знают, что замысел и конструкция принадлежат тебе, что тебя все время била лихорадка. Знаем также, какие вы закадычные друзья с Петром Ивановичем. Лучше начинай-ка работу, доставь нам удовольствие.

Все подошли близко к станку и стали пристально наблюдать за нашей установкой аппарата. Я включил мотор, и диск начал медленно вращаться. Я вставил в гнездо деталь, затем другую, и так, по мере вращения диска, детали вставлялись в очередные гнезда, а первые детали обрабатывались набором фрез. Все молчали и пристально следили за движением маленького конвейера. Готовую сверкающую деталь я снял и передал Пете, а Петя — директору. Павел Павлович даже шапку

задрал от удовольствия и, любуясь деталью, щелкал по ней пальцем.

— Хорошо, хорошо! Не придерешься.

Деталь пошла по рукам. Седов смотрел то на нее, то на меня и очень озабоченно размышлял над чем-то. Потом подошел к станку и несколько секунд наблюдал за работой конвейера и фрез. Рядом с ним встал и Павел Павлович, а Забываев даже низко наклонился над аппаратом.

— Сколько же ты думаешь дать за смену, Николай Прокофьич? — быстро повернувшись ко мне и улыбаясь, спросил Седов.

Все сгрудились вокруг нас с Петей и в нетерпеливом ожидании следили за нашими лицами. Мы обменялись взглядом с Петей, и он с иронической скромностью потупился.

Я не сдержал счастливой улыбки, но ответил деловым тоном:

— Мы тут прикидывали с Петром Иванычем... Думаю, что норм сорок дать можно.

Седов пытливо оглядел меня, а Павел Павлович размашисто написал пальцем в воздухе цифру 40. Седов громче, чем нужно, объявил, точно никто не слышал моего ответа:

— Товарищи, Николай Прокофьич обещает снять за смену сорок норм. Похлопаем ему?

Я остановил мотор. Седов обнял и поцеловал меня.

— Николай, дорогой! Ведь то, что ты сделал, замечательно. Этого же нигде нет в мире. Ах ты, милый мой друг!..

И сейчас же бросился к Пете:

— Спасибо, Петруша! Ты знаешь, как мы любим тебя и как ты нам дорог!

И совсем неожиданно, с юношеской теплотой, распахнулся:

— Ведь оба они — мои товарищи детства и молодости; вместе росли, вместе учились, вместе познавали мир. И отцы наши были друзьями и товарищами по борьбе...

И в эту минуту он опять стал прежним Алешей, простым и скромным парнем с горячими глазами, которые смущали девушек. Вспыхнули в памяти наши домашние вечера, споры, гулянье на островах, катанье по Неве... Родная Нева, прекрасная река моей жизни!..

Павел Павлович положил деталь на стол, вынул платок, сорвал шапку и вытер лоб. Всматриваясь в меня лукавой прищуркой и покачивая головой, он сказал:

— Крепкая голова, драгоценная, Николай Прокофьич! Теперь я, как никогда, уверен, что знамя Комитета обороны за нами... На этих днях лечу в Москву и доложу о наших чудесах.

И мне и Пете он крепко пожал руки. А Петр смотрел и на него, и на Седова недоумевающими глазами и смущенно бормотал:

— Напрасно вы, честное слово... Чем же я виноват в этом событии?

В тот же день я опять стал на трудовую вахту. Когда я настраивал станок, около меня собралась толпа рабочих. Вася толкался у станка и ласковыми пальцами трогал и гладил части аппарата. Яков и Митя не подходили близко, молча смотрели издали с благоговейным уважением. Чертаков, который стоял на этой детали, все время смущенно посмеивался. А перед самым пуском станка он, потный и растерянный, спросил хмуро:

— Сколько же ты, Шаронов, выжмешь из этой черепахи?

Вася насмешливо поправил его:

— Это, брат, не черепаха, а многоголовая гидра. Всю твою сменную продукцию схапает одним глотком.

Но Чертаков оттолкнул его и со злой настойчивостью переспросил:

— Я спрашиваю, сколько ты выжмешь за смену, Шаронов?

Я дружески улыбнулся ему:

— Сорок норм, родной. А может быть, и все пятьдесят.

— Верю. Шаронов не врет. Значит, эта гидра будет и у меня.

Он обвел всех торжествующим взглядом, щелкнул пальцами и, решительно расталкивая людей, пошел на свое место.

Вася подмигнул ему вслед и покрутил пальцем у сердца.

Толпа разошлась неохотно. Кое-кто подходил ко мне и пожимал руку:

— С добрым почином, Николай Прокофьич!.. Самой тебе максимальной удачи!

Я не буду рассказывать, как провел я свою вахту; повторилось почти то же самое, как и на вахте с первым приспособлением. Конвейер работал почти автоматически, только приходилось внимательно следить за подачей поделок да снимать готовые детали. На станке могли работать даже подростки. Приходил Седов с бессонными глазами, приходил директор, и оба смотрели на мою работу с тревогой и волнением. Я знал, что их тревога и волнение не оттого, что они опасались за успех дела, а от нетерпеливого ожидания результатов работы. Посетил меня даже и главинж, Владимир Евгеньевич. Он молча и как будто равнодушно постоял около меня и, уходя, сообщил:

— Мы рассматриваем это как большое событие на заводе, товарищ Шаронов. Вы и Полынцев достойны самой высокой награды.

18

Вася и Яков также переживали в эти дни горячку: оба они старались перещеголять друг друга в усовершенствованиях своих станков. Яков все время громко разговаривал с фрезерами, с инструментами. К его оживленной беседе с механизмами и вещами привыкли, но иногда посмеивались, слушая его разговор, а Вася громко подтрунивал над ним:

— Тебе бы, Яша, нянькой надо быть... ну, в детсаде, что ли. Зря пропадает талант. Ты хоть рассказал бы нам, о чем поют тебе твои приспособления.

Но Яков не обращал на него внимания, да едва ли и слышал его голос. Во время работы он забывал обо всем. Среди гула и рокота машин я иногда ловил его говорок:

— Ну, ну, братишка, забирай! Покрепче, посмелее!.. Ага, дрожишь, робеешь, стервец!.. Ничего, привыкнешь... А ты не суйся, пятерня, когда нет нужды!.. И ты не злись, не фыркай и не плюйся! Ишь, разбушевался, зубастый!.. За ритмом следи, Яков Федорыч!..

Его голос звучал и строго, и нежно, и ласково, и сердито.

Большим событием для завода была телеграмма Верховного командования. Оно благодарило нас за выпуск боевых машин сверх плана, поздравляло с победой

и призывало к еще большему напряжению сил для помощи фронту. Эта телеграмма была в ответ на рапорт завода о перевыполнении программы. Во всех цехах происходили стихийные митинги.

К нам пришел Алеша Седов и прочел телеграмму в мегафон. По всему цеху гремел взволнованный голос Седова, а в ответ шквалами забушевали аплодисменты. Как-то само собой случилось, что часть рабочих хлынула к Алеше, а со всех сторон, и близко и далеко, надсадно закричали голоса. Они чего-то требовали, но я не мог понять, в чем дело. У молодых и пожилых рабочих, которые подбегали к Седову, горели глаза, все нетерпеливо поднимали руки и требовали слова. В это время около Седова очутился Вася. Похудевший от волнения, он крикнул, подчеркивая каждое слово:

— Товарищи, вы все сейчас готовы дать разные обязательства, и обязательства эти выполните, конечно. Но у нас у всех есть одно общее обязательство. Не будем терять времени, оно дорого для нас. Предлагаю прервать работу ровно на пять минут и дать торжественную клятву Родине...

Как морской прибой, загремели аплодисменты и дружные голоса:

— Клятву, клятву!.. По местам!.. К станкам, товарищи!..

Седов взмахнул рукой и говорил что-то, но его не слушали. Все побежали обратно к своим станкам, перекликаясь. Вася подошел ко мне и схватил меня за плечо:

— Пиши текст клятвы, Коля! Живо! Несколько строк, не больше... Но чтобы крепко и ударно!

Алеша стоял в стороне встревоженный, смущенно улыбаясь. Таким я его видел очень редко. К нему торопливо подошел Петя и спросил у него что-то. Алеша подал ему телеграмму.

Я быстро написал карандашом две-три строки и остановился: слова горели в мозгу, но не могли вырваться на бумагу,— их было много, они толпились, ослепляли, обжигали меня... Вася наклонился над бумажкой, нетерпеливо читал написанные строки и сам бессильно путался в трудных, цветистых словах.

— Ну, пиши же, наконец, Колька! Ты же литератор... Время-то не ждет...

У меня дрожали руки, и я леденел от отчаяния, что

нужных, простых и объемных слов не нахожу в этот решительный момент. К нам присоединился Петя и вдруг спокойно подсказал эти большие слова.

Шум моторов и грохот металла, хрипенье электродов электросварки и говор людей стали быстро потухать, и тишина начала надвигаться на нас со всех сторон. Большая толпа в несколько секунд окружила нас плотной стеной. Парни, девушки, пожилые рабочие и даже ребятишки смотрели на нас с пристальной готовностью. Капала где-то вода, осторожно переступали люди с ноги на ногу. В этом безмолвии было что-то огромное, какая-то непередаваемая сила. Кто-то закашлял, кто-то неосторожно перекинулся словами с соседом. На них зашикали. Вася выдвинулся вперед и сказал вздрагивающим голосом:

— Товарищи, принесем клятву! Пусть наш уважаемый товарищ... товарищ Шаронов... будет говорить слова этой клятвы, а мы каждый повторим ее слово в слово...

Все в безмолвии устремили на меня глаза, и я увидел в этих сосредоточенных лицах трепет от ощущения необыкновенного события. Я снял кепку, и все в тот же момент обнажили головы. Дрожащей рукой я поднял бумажку и, задыхаясь, произнес первое слово:

— Клянусь...

И все гулко и разноголосо повторили:

— Клянусь...

И это слово пронеслось по цеху волною откликов.

Я произнес дальше:

— ...все свои силы... не жалея себя... полностью отдать... напряженной работе... на вооружение Красной Армии... для скорейшего разгрома... кровавого врага...

Глухой многолюдный хор голосов сотрясал воздух и раскатывался по цеху. Казалось, что и станки, и нагромождения металла, и штабеля пушечных стволов, и пронзительные огни электрических лампочек напряженно вслушивались в каждое слово и повторяли его вместе с людьми. Душа наполнялась восторгом и огромной верой в свои силы, и с каждым вздохом грудь дрожала от порыва совершить что-то большое. Я видел, что все, от подростка до старика, переживали то же самое. В эти короткие минуты они забыли о всяких своих личных заботах, о своих семьях, чем жили они за пределами завода и своего цеха.

— ...Клянусь... ежедневно, ежечасно, без устали... увеличивать во много раз... выработку оружия и боевых машин... бороться за новые методы труда... помогать отстающим... Клянусь... быть таким же беззаветным воином в тылу... как самоотверженный боец... на поле сражения... в беспощадной борьбе с врагами...

Я кончил и, не отрываясь, всматривался в лица людей: они были торжественно-строгие, озаренные внутренним светом. Сейчас все мы были готовы без раздумья броситься на любую борьбу, на любые жертвы и, не жалея жизни, совершать любые подвиги.

Вася взмахнул рукой и с улыбкой крикнул:

— А теперь к станкам, товарищи! Пожелаем друг другу успехов... Пусть горит эта клятва в наших сердцах постоянно!

Все молчаливо, с сосредоточенными лицами стали расходиться по своим местам.

Через минуту цех опять зарокотал, запел моторами, залязгал металлом, и опять засверкали молнии и зазвонил колокол электрического крана.

Алеша и Петя ушли незаметно.

19

В госпитале меня с живым любопытством встретили раненые в стеганых куртках, с костылями, с палками, с забинтованными руками. Я оставил свой чемоданчик в раздевалке, снял пальто, и гостеприимные бойцы повели меня, стуча костылями, куда-то в глубь коридора. Ребята, должно быть, рады были свежему человеку и расспрашивали меня, откуда я, к кому, почему с чемоданом.

Навстречу нам шла, вся в белом, высокая сестра, чем-то взволнованная.

— Вам Шаронова? — переспросила она, осматривая меня с тревожным раздумьем.— Не знаю уж как... Он недавно прибыл. Состояние у него не из важных... Без разрешения врача как-то...

Мы пошли по коридору и через вестибюль углубились в другой коридор. В конце его сестра отворила стеклянную дверь и первая вошла в палату. Комната была белая, светлая; в огромные окна било золотое солнце. Вдоль стен стояли кровати. Больные встретили

нас без всякого любопытства. Они лежали не шевелясь, бледные, худые, изнуренные своими ранами. Сестра подошла к одной кровати, направо, и, беспокойно оглянувшись, приложила палец ко рту. В палате была тишина и сдержанное покряхтывание. Я стал рядом с сестрой и обомлел. На меня смотрели в упор, не моргая, глаза слепого. Лицо было незнакомое — багрово-красное, в рубцах и болячках. Что-то было общее с Игнашей, но это был не Игнаша. Он улыбнулся далекой улыбкой, но глаза были неживые.

— Сестрица, вы... привели кого-то? Кто это?.. Ну-ка подождите, подождите...

И он протянул ко мне руку, сосредоточенно думая и прислушиваясь. Этот родной голос, который не угасал у меня в душе, потряс меня до того, что я не мог стоять на ногах. Я рванулся к его койке и упал на колени.

— Игнаша! Родной мой!.. Я здесь, у тебя... Милый, что же это с тобой?.. Ты не видишь меня?..

— Коля! Коленька!.. — крикнул он, как мальчик, и обхватил мою шею.

Мы смеялись, всхлипывали и не могли оторваться друг от друга.

— Игнаша, милый, ты не знаешь, что я пережил!.. Ведь был уверен, что ты погиб... и не утешал себя надеждами. И вдруг — твоя телеграмма...

— Ох, все было, Коленька... чего только не было!.. И горел, и камнем летел вниз, и от немцев удирал, и слепой по лесам и полям рыскал... И вот живу, радуюсь...

— Но как же? Игнаша! С глазами-то как же? Неужели навсегда?

— Ничего, ничего, Коленька!.. Как-нибудь выберусь... Я от немцев удрал, от огня отбился, в лесу не замерз... а уж слепым-то не останусь... Нет, Коля, нет!.. Но... но пока... пока — тьма.

Сестра погладила Игнашу по голове и с нежностью в голосе сказала:

— Нет, вы обязательно... непременно будете видеть... Доктор убежден, что зрение скоро возвратится... Это временно... Вы увидите солнышко, цветы, нашу Волгу...

Она принесла стул и усадила меня рядом с Игнашей. Ее хорошие глаза, еще темные от слез, ободряюще улы-

бались. Губы у нее вспухли от волнения, как у девочки. Она опять погладила волосы Игнаши и той же ласковой рукой провела по моему плечу. Потом с сожалением оставила нас и склонилась над соседней кроватью.

— Но как же это случилось, Игнаша? Может быть, тебе нельзя говорить? Тогда не надо...

— Нет, почему же? Я ведь сейчас здоров, Коля... Только вот еще немного кровоточат ноги... пальцы отморозил... Ну, да ведь это пустяки... А случилось просто. Штурмовали скопление войск, эшелоны, аэродром. Ну и, конечно, схватка в воздухе... Это был очень горячий бой... Я сбил два самолета, но тут же и меня подсекли. Загорелся бензобак... А это, знаешь, дело дрянь: огнем охватило весь самолет. Я пошел в штопор. Ну, думаю, конец! Уже поджаривать меня стало. Потом разъярился: нет, думаю, еще поборюсь. Не знаю уж, каким чудом выправил машину и понесся к своим линиям. Вижу, не дотяну. Уже одежда стала дымиться. А тут, кстати, лесок. Сумерки. Грохнулся на одну поляну и даже удивился, как у меня это здорово вышло. Врезался в кусты. Машина ревет и стонет от огня, пылает... Признаюсь, сгоряча и не почувствовал даже, как меня поджарило. Выскочил и — в кусты, в лес, во тьму. Слышу позади выстрелы... я — в сторону, и во все лопатки... Так я, как зверь, метался, запутывая следы. Снег, дремучие заросли... Потом с разбегу кувырнулся куда-то в пропасть: глубокий овраг. Он-то меня, пожалуй, и спас от немцев...

...По дну этого оврага Игнаша по глубокому снегу бежал с полверсты, скрываясь в мелколесье, и очутился в долинке, где лесок был пореже. Потом он вышел на санную дорогу и побежал по ней не вниз, а вверх: внизу, несомненно, была деревня, и там — немцы. Вверху рос густой лес. Он догадался бежать именно по дороге, а не по целине, чтобы погоня потеряла его следы. Сумерки здесь были гуще, а лесная заросль чернела ночью. Внезапно он увидел две дорожки, которые уходили развилкой от санного пути вправо, в гору, в чащу леса. Он вскарабкался по одной из этих дорожек наверх и прислушался. Верно: внизу — топот, голоса, выстрелы... Очень хорошо было слышно, как немцы побежали куда-то вниз, и голоса их и скрип снега под ногами замирали с каждой секундой. Игнаша опять побежал вперед

и углубился в самую непроходимую чащобу. И вдруг окутала его тьма, такая тьма, какой еще никогда в жизни не знал. И он сразу понял, что ослеп. Понял и весь похолодел. Такого ужаса и безнадежности он не испытывал даже в тот момент, когда штопором летел вниз на горящей машине. Он упал в снег и застыл в отчаянии. Черная тьма без измерений, и он один в этой тьме, и нет никаких путей: всюду — бездонная пустота. Так пролежал он, должно быть, долго, потому что почувствовал, что стал замерзать. И тут он опять забунтовал: «Пока живой, пока голова на плечах — до последнего вздоха буду бороться за жизнь!..»

Рассказывая, он держал мою руку и пожимал мне пальцы. Рука его исполосована была красными рубцами. Он улыбался, как улыбаются слепые,— и самому себе, и куда-то вдаль. Он замолчал в задумчивом ожидании. Подчиняясь этой его молчаливой мерцающей улыбке, я сам молчал и даже дышал сдержанно.

Не оборачиваясь ко мне, он спросил:

— Ну, а ты... ты, Коля, как жил?.. Как боролся? Ты расскажи. У тебя ведь сейчас богатая жизнь... Я тут слышал радио... У тебя какие-то большие победы...

— Но как же ты спасся, Игнаша? Ведь был в ловушке — и немцы кругом, и эта страшная тьма... Я не могу этого представить...

Он сконфуженно засмеялся, и этот смех был какой-то новый, едва слышный, смех про себя.

— Понимаешь, Коля... я как-то сам удивляюсь... Знаю, что ползу куда-то вперед, и знаю, что ползу туда, куда надо... Возможно, что у меня в этот момент проснулся направляющий инстинкт. И другой инстинкт — инстинкт маскировки: при каждом подозрительном шорохе, или когда мерещились голоса и шум, я мгновенно зарывался в снег и лежал без движения. Так я полз, вероятно, целые сутки. Я на расстоянии чувствовал открытое поле и забирался глубже в лес. Боль в ногах сначала была нестерпимая, а потом потухла. Понял, что пальцы отморозил. Руки я все время снегом растирал, хотя ожоги очень мучили меня. Наконец слышу: человек с собакой разговаривает. Не разберу: свой ли, враг ли. Вынул я револьвер, приготовился. Можешь представить, Коля, что я пережил в те минуты... Жду — и готов и к жизни, и к смерти...

Он опять примолк, улыбаясь странной улыбкой. Потом засмеялся едва слышно, про себя.

— Бывают в жизни этакие мгновения... мгновения нечеловеческие... это — ужас... в лесу, когда ты — зверь в облаве. А человеческое, мое,— это, когда воля моя побеждает все,— воля как сила моей мысли. И тогда — ни страха, ни ужаса... И вообще, Коля, в жизни ничего нет страшного, ничего... когда я — владыка самого себя, то есть когда я охвачен сознанием и целью... хотя бы подо мною — бездна, а впереди, вверху — враги... Летчики — немного философы.

— Ну, так что же дальше, Игнаша? — с дрожью в голосе понудил я его, наклоняясь к его лицу.

— Честное слово, Коля, в жизни ужасное и смешное неразделимы. Говорят: от трагического до смешного — один шаг. Нет, и трагическое и смешное — это одно и то же: с какой стороны посмотреть... Слышу, подбегает собака, обнюхивает меня, мечется, тявкает как-то по-щенячьи,— не то от радости, что нашла добычу, не то от нетерпения, что хозяин опаздывает. То отбежит назад, то опять обнюхивает и храпит. Чую, бежит человек, и тоже храпит. Я кричу ему: «Говори сразу — кто!» Человек остановился и спокойно, низким басом гудит: «Свой, свой, не бойся!..» Собака уже не лает, а повизгивает. Я не двигаюсь с места и настороженно спрашиваю: «А чем вы докажете, что — свой?» Он смеется и басит: «А ничем, как и вы. Однако я знаю, что вы — наш».— «Да по мне,—говорю,— можно понять, кто я».— «Ну,— говорит,— немцы здорово умеют маскироваться под русских. А сейчас, кстати, густая ночь, ни черта не видно».— «Ну, так вот,— говорю,— товарищ, я ослеп, горел вместе с самолетом, бежал от немцев... полз, кажется, целую вечность. Обморозился, да и страшные ожоги. У меня револьвер, но пока я вам его не отдам... для всякого случая». Он опять смеется. «Что ж,— говорит,— пожалуйста, не отдавайте. У меня у самого автомат и гранаты».— «А вы кто?» — спрашиваю. «А тут,— говорит,— недалеко партизаны. Я из отряда. В разведке. Совсем рядышком,— говорит,—у нас избушка. Услышал, что собака забеспокоилась, ну я и пошел за ней. Только собака у нас ученая; на немцев не лает, молчком ведет. А ежели русского чует, кричит и танцует. А теперь давайте руку, я поведу вас к себе в гости; и перевязочку сделаем, и накормим, и поуха-

живаем, а потом видно будет». Вот тебе, Коленька, и повесть о моих блужданиях между жизнью и смертью...

— Ну, а где ты узнал, Игнаша, что ты Герой Советского Союза?

— Так это правда?.. Колька! Мне комиссар сказал, да я как-то не совсем поверил... Сестрица! Лида! Где же газета?..

Он сел на кровати, сбросил с себя одеяло и спустил забинтованные ноги на пол. Лицо его стало сизым от прилива крови, и глаза вспыхнули, как у зрячего.

— Подожди, Колька!.. Даже искры в глазах...

Он заметался, схватился за голову, упал на подушку, потом опять вскочил, засмеялся, и глаза его залились слезами.

Я обнял его и, целуя, уложил на кровать.

— Успокойся, родной! Конечно, ты будешь видеть... Ты успокойся. Полежи, отдохни...

К нам подбежала сестра и вынула из кармана газету.

— Вот, вот, Игнатий Прокофьич!.. И портрет ваш здесь.

Игнаша схватил газету и пощупал ее пальцами.

— В каком месте?.. Вот здесь? Прочти, Коля!

Я прочел ему текст Указа, а он смотрел куда-то вдаль и смеялся.

— Это... это — большое счастье!.. Колька, понимаешь ли ты, какое это счастье?.. Мне кажется, что в глазах у меня радуга... Пусть это воспоминание об угасшем свете... но это — действительно...

Сестра склонилась над ним, поправила его волосы и стала ласково успокаивать его. Игнаша взял ее руку и положил себе на грудь.

— Вот и хорошо, что вы счастливы, Игнатий Прокофьич. Я так рада!..

— Видишь, Коленька, какая она славная?

Сестра мигнула мне, что нужно оставить его одного. Я положил руку на его волосы и сказал ему тихо, как ребенку, что приду к нему завтра, а теперь мне надо похлопотать о пристанище.

— Иди, иди, дорогой! Конечно!..— встревожился он и протянул мне руки.

Я ушел от него в слезах и слез своих не стыдился. На меня смотрели раненые без всякого удивления и провожали, дружески улыбаясь.

В этот день мне не удалось увидеть начальника госпиталя, врача, чтобы поговорить с ним об Игнаше: он был занят какими-то сложными операциями. Я зашел к комиссару. Встретил меня чисто выбритый молодой капитан и гостеприимно угостил кофе с молоком и с белой булочкой. Бледное, сухощавое лицо его с тонким носом и огромными очками все время улыбалось. Он участливо поинтересовался, где я устроился, надолго ли приехал к брату, не может ли он чем-нибудь помочь мне. Держал он себя как-то беспокойно: то вставал со стула, то садился и все время что-то искал по карманам.

— Скажите,— спросил я его,— почему вы только вчера сообщили брату о том, что он Герой Советского Союза?

Он изумленно поднял брови, потом пошевелил ими озадаченно и, наконец, сдвинул их в раздумье.

— Видите ли, какая штука... С одной стороны, можно ли удержать в памяти огромное количество награжденных, с другой — он доставлен в тяжелом состоянии. Кроме того, он и сам мог знать об этом. Просматривая комплекты газет, мы натолкнулись на его фамилию. Я поздравил его, но он — представьте! — не поверил: вероятно, подумал, что шутка. Потребовал газету.

— А долго вы думаете держать брата в госпитале? — спросил я комиссара.

— Это неизвестно. Полежит. До лета, думаю, продержим здесь. Возня с ногами. Плеврит.

— А зрение?

Комиссар пошевелил бровями, и улыбка его стала недовольной и неискренней.

— Это не в моей компетенции. Побеседуйте с начальником госпиталя. Он в курсе дела.— Он встал и взглянул на часы.

— Завтра зайдите к нему вечерком. Он человек резковатый, но прямой. Я постараюсь предупредить его сегодня.

Он задал мне несколько вопросов о моей работе и сказал, вздыхая:

— Вот и у нас... Тяжелые, очень тяжелые обязанности... Здесь человек как будто весь оголен: сколько страданий и трагедий!.. и сколько великих душ... простых, незаметных для многих! Ваш брат — один из них... один из тех, кто не замечает своего величия.

На другой день утром, когда я вошел в палату, Игнаша в голубом халате и туфлях, которые едва держались на забинтованных ногах, стоял около своей койки у двери, как будто пытался выйти в коридор. Он улыбался прежней улыбкой, а лицо сосредоточенно-напряженно.

Кто-то из больных предупредил его:

— Шаронов, брат пришел.

Но он уже протягивал навстречу мне руку и крикнул:

— Я знаю... Я еще издали почувствовал... Мне кажется, Коля, что я вижу твою тень...

Мы поцеловались.

— Ну, как себя чувствуешь, Игнаша?

— Хорошо, Коля, превосходно!.. Ты понимаешь, я вижу, как туманятся окна... Рассвет, братуха, рассвет!.. Но придет и настоящий день... А я вот хожу... самостоятельно: прошел к окну, а потом сюда, к двери. Там свет, как облако, а тут — тьма... Замечательно!.. Возьми меня под руку, и мы с тобой пройдемся по коридору... Как мне надоело лежать!.. Тоскую по самолету, по товарищам... Ты им сейчас напиши от меня письмишко... Буду опять летать, Коля... опять летать!.. Я еще покажу этим фашистским разбойникам... я им сумею отомстить...

Мы вышли в коридор и медленно зашагали в сумеречную его даль. Он сжимал мне руку, и я чувствовал, как струится с его пальцев нервная дрожь: он был счастлив, что я возле него, и эта его теплота лучше всяких слов говорила о его любви ко мне. А у меня подступала судорожная спазма к горлу, и я долго не мог произнести ни слова. Он это чувствовал и крепче прижимал к себе мою руку.

— Ты мне расскажи, Коля, как ты боролся и побеждал. Я ведь очень горжусь тобою... Я знал заранее, что ты сделаешь что-то замечательное, не мог не сделать... Помнишь, как наш старик хвастался: «Шароновы — все с талантами...» Для него талант — любовь к труду.

— Это при тебе еще он танки под огнем ремонтировал, Игнаша?

— Папашка не сдаст! Ты ведь знаешь его: умрет он в цеху, а не дома. Пройдем с тобой в красный уголок; это здесь, где-то в конце коридора. Расскажи мне, как вы воевали...

Я коротко рассказал ему о том, как мы сопровождали эшелон, как нас бомбили, как погибла дочка Пети и обезумела Наташа... как монтировали завод и как я оснащал свой станок.

— Славный Петя! — вздохнул Игнаша и крепко сжал мои пальцы.— Ты его не оставляй, Коля... Ведь этот удар — на всю жизнь.

Навстречу нам прыгали на костылях молодые ребята. Они оживленно разговаривали, шутили, смеялись.

Мы вошли в светлую комнату, с длинным столом посередине, на котором рядком стояли цветы в плошках: Игнаша опять заликовал:

— Понимаешь, этот рассвет... такой голубой разлив...

В комнате сидел, закрывшись газетой, больной в халате. Он так углубился в чтение, что не обратил на нас внимания. Но, когда мы сели к столу, дверь открылась, и сестра Лида, приветливо улыбнувшись мне, вызвала из комнаты раненого.

— Скоро, Коля, я опять полечу в небеса... Я приеду к тебе на завод и опять увижу тебя, Петю, Алешу, ленинградцев... Вы приготовите мне добрый самолет...

— Обязательно приготовим, Игнаша... Специально для тебя приготовим...

— Ну, вот и хорошо! Я поведу его прямо в Ленинград... Я ворвусь прямо к Лизе и крикну: вот и я, Лиза! Горел и возродился из пепла...

— Она, Игнаша, приедет сюда, ко мне: я поторопил ее молнией.

Он отшатнулся от меня в изумлении.

— Лиза? Сюда? Из Ленинграда?.. Теперь? В эти дни?.. Ну нет. За кого же ты ее принимаешь?..

Но вдруг запнулся и замолк: должно быть, почувствовал, как я вздрогнул от его слов. Мне было больно слушать его, но что я мог возразить против правды. Ведь в письмах своих Лиза не обронила ни одного намека о желании приехать ко мне. Наоборот, каждая строка звенела гордостью за Ленинград, за себя. Она тоскует по мне, ей хочется чувствовать себя рядом со мною, но у нее и в мыслях не было оставить израненный город

ради меня. И я только в этот миг понял, как я был слеп, мечтая о скором ее приезде. Лиза не ответила на телеграмму, не ответит и на письма. Конечно, Ленинград — это личная ее судьба. Разве она может вырвать себя из него? Ведь и я, и Игнаша, и мои старики, и все те, кто борется там,— это душа великого города. Я поступил бы так же, как и Лиза. Я дрался бы там, и в окопах, и в цехе со всем пылом моего сердца.

Игнаша погладил меня по плечу и смущенно проговорил:

— Ты извини меня, Коля... Я огорчил тебя... Но, братуха, я был бы счастлив, если бы все сложилось так, как ты хочешь.

Я поспешил успокоить его:

— Не волнуйся, Игнаша... Конечно, Лиза не уедет из Ленинграда. Будем каждый бороться на своих позициях.

Он схватил мою руку и сжал до боли.

— Да, да, Коля, будем бороться, как велит необходимость... В этом наш долг и наше счастье... А я... нет, я неспроста остался жить: я нужен Родине, и она охранила меня от гибели... У меня отморожены пальцы на ногах, но они заживают, лицо обожжено и обморожено, но это сойдет. А самое главное, Коля,— это рассвет в глазах... Если бы ты знал, как я счастлив! Скоро я увижу солнце... Я приеду к тебе на завод и сам поведу свеженький штурмовик... Орлом прилечу на свой аэродром... Обниму всех своих товарищей...

— Я буду ждать тебя, Игнаша, с нетерпеньем,— сказал я, заражаясь его счастьем.— Ты знаешь, какой это для меня будет праздник!

Он бросился ко мне на шею и засмеялся.

— Как мы с тобой говорим, Коля!.. А теперь пиши, Коленька, моим друзьям...

И он продиктовал мне короткое, но горячее письмо. Мы опять пошли с ним по коридору к его палате. Шагал он осторожно — раны на ногах не зажили,— но шел он не так, как ходят слепые, он не опирался на мою руку, он сам направлялся к далекому сиянию окна и повторял с наивным удивлением:

— Ведь это там окно?.. Понимаешь, как волны... такие странные, голубые и оранжевые... Как хочется, чтобы эти волны прошли... чтобы этот туман рассеялся!

Он остановился и тревожно спросил:

— Но когда же ты уезжаешь от меня, Коля?

Я осторожно и с сожалением ответил:

— Мне, Игнаша, надо возвращаться. Ты знаешь, что у меня не должно быть прогулов...— И пошутил: — Надо ехать, чтобы приготовить тебе отличный самолет.

— Да, да, поезжай, Коля! Ты — на поле боя... Жаль сейчас расставаться с тобой, но... самолет, самолет!.. Я буду мечтать о нем и о тебе...

Днем я съездил на аэродром. Начальник, предупрежденный Павлом Павловичем, принял меня, как знакомого. Кряхтя и поеживаясь, он сердито посмотрел на меня из-под козырька фуражки и подумал над чем-то, постукивая пальцами по столу.

— Хорошо. Выкрою для вас место. Полетите.

Я быстро выбежал из комнаты.

Вечером седовласый врач, с жидкой бородкой, с колючими серыми глазами, встретил меня в своем кабинете молча, только ткнул карандашом в сторону стула. Около него, у стола, стояла пожилая полная сестра с обвислыми щеками. Он написал что-то на бланке, сунул ей еще несколько бумажек и вопросительно вскинул на меня остренький взгляд.

— Я брат раненого летчика Шаронова,— начал я.— Мне хотелось бы побеседовать с вами...

Он бесцеремонно перебил меня:

— Да, хотите узнать, будет ли он видеть?

Он замолчал, опустил глаза на свои волосатые руки, подумал немного и грубовато сказал:

— Повезло ему здорово! Огромного духа человек. На его месте другой сюда не добрался бы. Была гангрена на ногах — сбили. Ожоги тела — исцелился. А теперь — глаза.

— Вы знаете, доктор,— нетерпеливо перебил я его и даже встал от возбуждения,— вы знаете, что он видит?

Он показал мне рукою на стул и с простецкой фамильярностью оборвал меня:

— Сядьте, пожалуйста! Видит... Пока еще ничего не видит...

— Но он видит мутное пятно окна и даже идет на него. Это же не галлюцинация?

Он опять воткнул в меня свои колючие глаза.

— А кто вам говорит, что галлюцинация? Я говорю только, что затяжное дело. С одной стороны — контузия. Это — временное. С другой — ожоги. Это — скверно.

— Но вы мне скажите, доктор, только одно слово: будет он видеть или нет?

У него подобрели глаза, и он ответил мягко и задумчиво:

— Будем надеяться, будем надеяться... — И сердито посоветовал мне: — Больше к нему не заходите, а то вы испортите всю музыку. Такие люди, как он, очень чутки.

— Я уже простился с ним, доктор.

— Вот и отлично. Могучий организм, удивительная сила воли!..

Я вышел от него очень встревоженный. А ночью на аэродроме я бродил по поселку до изнеможения, возвращался в комнату для отдыха, ложился, но сейчас же вскакивал и опять выбегал на улицу.

21

Утро было яркое, прозрачное, солнечное. Как-то странно и непривычно колыхалась в воздушной бездне белая земля, уплывали, мерцая, кучи домов, уродливо скособоченных, и заводские корпуса, такие же карликовые, как на рельефном плане. Не успел я осмотреться, как город вдруг исчез, и мы очутились над пустынными дебрями лесов. Мне показалось, что мы стремительно падаем вниз, потому что голые леса и черно-сизые шапки сосен быстро приближались к нам, и сугробы снега волнами плыли под самолетом. Потом сразу же и снег, и леса ухали в глубину, и мне чудилось, что мы бурным порывом взмываем ввысь. И я тут же понял, что самолет летит ровно, по прямой линии, а холмы то поднимались своими склонами, то опускались в долины. Пропеллеры ревели ураганом, до щекотки в ушах, и самолет дрожал струнной дрожью.

В самолете сидело человек двенадцать — больше военные, молодые командиры. Кресел на левой стороне не было: там один на другом стояли маленькие ящики, посредине тоже были ящики, большие и длинные. На них сидели командиры, а в креслах направо уютно устроились работники наркоматов. Экипаж в пять человек находился в кабине летчика, и когда отворялась дверь и оттуда выходили молодые ребята в мешковатых синих комбинезонах и очкастых шлемах, я видел спину пилота в кожаном пальто. Командиры сидели по двое, по трое

и, жестикулируя, оживленно разговаривали и смеялись, но ни смеха, ни разговора их не было слышно. В окно видно было серо-зеленое крыло в рваных дырках, пробитое, должно быть, осколками зенитных снарядов. Я, не отрываясь, смотрел в окно и видел плывущие и колыхающиеся взгорья, покрытые снегом и густой зарослью лесов. Они казались коричнево-сизыми кустарниками. Когда горбы холмов приближались к самолету, совсем рядом тянулись к нам стройные березы с отчетливо разрисованной белой корой. Ощущение страшной высоты вызывало в сердце тоскливое замирание, странную боль в голове. Часто тошнотная судорога сжимала внутренности. Командиры чувствовали себя превосходно: видно было, что они возбуждены, им хотелось петь песни. Двое из них, более пожилые, играли в шахматы. Наблюдая за ними, я заметил широкое отверстие в крыше, из которого падал яркий свет. Я поднялся с своего сидения и посмотрел вверх: там был просторный стеклянный колпак, и в светлом гнезде — пулемет с задранным дулом.

Мимо проносились клочья тумана. Мы разрезали их, ныряли в их пушисто-белую муть и опять вылетали в солнечно-голубой простор. Потом туман стал налетать сплошными шквалами, и крылья самолета исчезали из глаз. Окно неощутимо сливалось с непроглядно серой тьмой. Тошнотное замирание внутри стало чаще и мучительнее. Уже ясно чувствовал я, как самолет стремительно падал в пропасть, и я инстинктивно хватался за ручки кресла и закрывал глаза. Секунды через две он упруго вздрагивал, шарахался в сторону, тревожно рявкал, и я вдавливался в кресло: должно быть, он поднимался ввысь. И вдруг опять сияло солнце, и недалеко внизу сплошными сугробами, лохматой пучиной плыли облака. Это было сплошное золотое море, которое бушевало без конца и края. Небо вверху было голубое и ласковое. Синяя тень нашего самолета со страшной быстротой скользила по кудрявым волнам блистающего моря облаков, изгибалась, взмахивала крыльями, как чудовищная птица. Словно зачарованный смотрел я на этот необъятный океан, пылающий ослепительным пламенем.

Так летели мы долго, и я незаметно задремал, утомленный ослепительным сиянием внизу и гнетущим ревом пропеллеров. Я уселся глубже в кресло, вытянул ноги и прислонил голову к стенке.

...Родные призраки проносятся передо мною... Лиза смотрит на меня, и на ее бледном, исхудалом лице — огромные глаза... Она улыбается мне и настойчиво повторяет какое-то слово, которое я не слышу... А Игнаша, весь прежний, ленинградский, смеется и кричит: «Я увижу солнце... Я полечу навстречу солнцу!..» И сердце мое сжимает тоска. «Будем надеяться, будем надеяться...» — сказал врач, и нельзя было понять по его подобревшей улыбке, утешал ли он меня без уверенности в исцелении Игнаши, или сам был убежден, что Игнаша прозреет, но из осторожности отвечал и мне и себе неопределенными словами. «Могучий организм... огромная сила воли!..» Может быть, он давал мне понять, что надежда только на необыкновенную волю к жизни у Игнаши?.. Обрывки мыслей, отдельные слова вспыхивают и тревожат сердце. Игнаша протягивает ко мне руки в шрамах и улыбается самому себе и куда-то вдаль. Сейчас он, может быть, бродит по палате и тянется к туманному рассвету... Он мечтает о солнце, о полетах... И во сне и наяву он будет жить верой в близкое счастье прозрения... Дорогие мои оторваны от меня... Может быть, навсегда?.. Они кричат мне из осажденного города, протягивают руки и требуют: «Мсти! От тебя зависит счастье нашего освобождения!..» Силы моей Лизы и моего старика слабеют. Я должен быть впереди... Лиза отважно борется на своем посту. Ей не страшны бомбежки и ежедневные обстрелы города. Она видит смерть на каждом шагу, смерть подстерегает ее всюду, но если бы пришлось ей погибнуть, она гордо и смело пошла бы навстречу гибели, как воин, как хорошая русская женщина, потому что в душе ее — огромная любовь. Ленинград — это отчизна, это свет ее жизни, это будущее... Но почему у меня так мучительно на душе? Почему такая смута в мыслях?

Я вздрагиваю и открываю глаза. Самолет падает, судорожно трепещет и бросается из стороны в сторону. За окном непроглядная серая муть. Мне кажется, что мы летим уже несколько часов. Молодые командиры уже не разговаривают, не смеются: они обмякли, погрустнели и скучно смотрят в окна. Кое-кто из них скорчился на ящиках и дремлет.

В разрывах тумана я вижу коричневые обрывы, черные пятна льда на какой-то большой реке. Вихрями и шквалами бушует снегопад. На земле, очевидно,

буран. Но видение мгновенно исчезает, и опять мы в сплошной седой мгле, без измерений. Самолет делает крутой вираж: я это чувствую болезненно. К голове приливает кровь, и в висках тяжелая боль. Ураган рвет машину, и она кряхтит и прыгает.

Болтанка обессиливает меня, и я снова погружаюсь в бредовый полусон. И опять мелькают видения, опять сумбурно звучат слова. Время от времени я прихожу в себя. Белый ураган хлещет в окно, точно мы погружены в пучину молочного моря. Иногда эта белая мгла разрывается, и в бездне, среди вихрей снега, виднеется гора, покрытая лесом, или овражистые берега какой-то реки. Сколько же времени мы будем блуждать в этой буранной пустыне?

Сознание туманилось, и я забывался. В таком полуобморочном состоянии я находился как будто несколько минут, но, очнувшись и взглянув на часы, я испугался: мы болтались в снежном урагане уже около шести часов. Белая мгла померкла и стала серо-голубой. Через час день угаснет, и мы погрузимся в ночь.

Тревога охватила всех пассажиров. Двое штатских встали со своих мест и, шатаясь, подошли к командирам. Со страхом в глазах что-то кричали им и размахивали руками. Командиры, переглядываясь, усмехались. Штатские, пожимая плечами, панически шагали обратно. Седой, полный человек обернулся ко мне, и в его глазах заискрилась насмешка: вот, мол, попали в переделку! Как, мол, вы себя чувствуете, гражданин?.. Один из пожилых командиров с ожесточенно-холодным лицом прошел к кабине экипажа и, уверенно распахнув дверь, скрылся за нею. Все проводили его глазами и, не отрываясь, смотрели на дверь в напряженном ожидании. Седой человек опять обернулся ко мне, лукаво подмигнул и закивал на окно. Я сделал вид, что совсем не интересуюсь его настроением. Хлопнула дверь, и вместе с командиром вышел усатый и краснолицый летчик с выпуклыми глазами. Многие вскочили с мест и бросились к нему. Он остановился, сдвинул густые брови и приказал руками сесть всем на места. Покрывая гул пропеллеров, он крикнул зычным баритоном, но голос его доносился как будто издалека:

— Не волнуйтесь, товарищи! Сидите спокойно! Я бывал и не в таких переделках.

И улыбнулся, показав два широких резца из-под

усов. Он прокричал что-то еще, но слов его я не разобрал.

Такого состояния я не переживал ни на войне, когда водил свой танк в атаку на финнов под ураганным огнем, ни во время бомбежки нашего эшелона. Тогда я был одной из действующих сил, и от меня зависели успех наших атак и спасение заводского оборудования. Теперь же я чувствовал что-то вроде обреченности: я был беспомощен, прикован к месту. Моя жизнь зависела от летчика, а жизнь летчика — от погоды, от бензобака, от тысячи неожиданных и неустранимых случайностей. Мы блуждали в непроглядном сумраке пурги, не зная, где находимся, не зная, что в бездне, под самолетом — там, может быть, горы, леса, гранитные скалы, а может быть, и желанные поля... Стекла заливались молочно-грязной мутью, и мы ничтожной пылинкой носились в этом седом урагане. Даже полостей самолета не было видно. Мне чудилось, что пройдет несколько мгновений, и мы, не замечая падения, врежемся в землю или разлетимся в брызги на каменных нагромождениях. Погибнуть так бесславно и бессмысленно. Прервать мою борьбу, мою боевую работу, в которой сейчас весь смысл моей жизни... Я сделал еще так мало... Оборвать жизнь в тот момент, когда она только еще начинает разгораться, выйти из боя, когда борьба широким размахом идет по всему фронту... А Лиза... моя родная Лиза с Лавриком...

На мгновенье я ощутил стремительное падение вниз. Мне стало дурно, и я закрыл глаза. Самолет задрожал и запрыгал в судорожных порывах. Я услышал крики людей, глухие и далекие, и общую суматоху. С усилием я открыл глаза и увидел, как военные устремились к окнам. Даже толстяк прилип лицом к стеклу и жадно всматривался вниз. Черная полынья, как бездонная пропасть, неслась на нас с жуткой быстротой, все шире и шире разевая свою пасть. Она мгновенно проглотила нас, и мы сразу же очутились в прозрачном синем воздухе со снежными далями полей и холмов.

Когда я опомнился и прилип к окну, совсем близко неслись талые пашни и задворки какой-то деревушки. Самолет несколько раз скользнул по земле, задребезжал, подскочил в воздух и сразу всей тяжестью налег на колеса. С непередаваемой радостью ощутил я и услышал громыхание шасси по колдобинам и комьям

мерзлого поля, твердость родимой почвы, ласковые избы вдали и вечерние голубые косогорчики. Какое наслаждение потрясло меня, когда самолет застыл на месте! Все гурьбой кинулись к выходу, открыли дверь, сбросили трап и стали выскакивать. У меня дрожали ноги и руки, и я с трудом спустился на снег. Не останавливаясь, я пошел в молчаливый снежный простор, без цели, без направления,— просто так, чтобы почувствовать землю, скрипучий снег, устойчивую неподвижность мирных полей и уютных деревенских крыш за отлогим взгорком.

— Милая, родная земля!..— шептал я.— Дорогая моя земля!..

И вдруг на душе стало светло и радостно; все бредовые видения и мысли растаяли, унеслись вместе с пургой и мутью.

Я остановился и оглянулся назад. Самолет стоял далеко, задрав голову и неподвижно распластав крылья. Около него толпились пассажиры. Уже смеркалось, и снежные дали переходили в фиолетовые сумерки. Небо было мутное, и тучи неслись низко. Хотя свежий снежок и скрипел под ногами, но здесь, должно быть, совсем не было того урагана, с которым мы боролись в этой чертовой вышине. Воздух был теплый, домашний, с запахом навоза и мокрой земли. Неподалеку от меня бежала черной тенью лошаденка и тащила за собой сани. Я побежал наперерез ей, чтобы узнать, где мы находимся. В санях сидел крестьянин в стареньком полушубке и смотрел мне навстречу с недоверчивой улыбочкой, спрятанной в реденькой бороденке. Он сам остановил лошадь и первый же спросил:

— Это чего птица-то тут села? Из нее ты, что ли?.. Еропланы в жисть в наших местах не садились. Аль что приспичило?..

— Буря сюда занесла. До города-то далеко отсюда?

— Вота-а!..— засмеялся он.— До города-то едешь, едешь — глаза вылупишь.

— Нет, без шуток...

— А без шуток так: иди по этой дороге, она тебя к вокзалу приведет. До города-то, по нашему счету, верст пятьдесят будет.

— Нельзя ли лошаденку?

— Вот-а, чудак какой! Какая теперь лошадка? Война! Лошадка теперь не гладка. На своих на двоих де-

шевше... Н-но, ты, сивая-ковурая! — И колхозник ударил вожжами по сухому крупу лошади.

Я возвратился к самолету, но никого из пассажиров не застал: все ушли ночевать в деревню.

Я влез в самолет, взял свой чемоданчик и простился с экипажем. В деревню я не пошел, а решил добраться до города.

22

В кромешной тьме я кое-как доплелся до маленькой станции, сел в товарник и в час ночи был уже дома.

Моя холостая комната показалась мне родной и уютной. Со стены смотрели на меня Лиза с Лавриком, хмурился мой старик и грустно улыбалась мать. А Игнаша как будто даже подмигнул мне: вот, мол, и я здесь с тобою!.. На столе лежали книги и толстая папка записок.

Как родного, встретила меня Аграфена Захаровна. Даже в полумраке прихожей видно было, что она покраснела от удовольствия. Казалось бы, чего ей так радоваться? Ведь я не был дома только четыре дня. Причудливая вещь душа хорошего человека! Пропадай я хоть целую неделю в своем цехе, эта женщина не взволнуется. Но стоило уехать куда-то в Казань и сразу же возвратиться — она уже встречает меня, как после долгой разлуки.

Не успел я войти в комнату, как она принесла мне целый ворох писем и газет. Я выхватил их из ее рук и стал жадно разбирать.

— А вы не волнуйтесь, Николай Прокофьич. Письмо-то из Ленинграда наверху было. Зачем вы его отбросили?

Письмо было необычно короткое, и поэтому почему-то испугало меня. Что-то в этом листике, исписанном с двух сторон, было суровое, как окрик. Я даже смущенно оглянулся, боясь, как бы Аграфена Захаровна не догадалась, что мне не по себе. Но в комнате ее уже не было.

«Родной мой! — читал я.— Получила твою телеграмму, а потом два письма, но долго не отвечала на них — сознательно не отвечала. Мне кажется, что за это время

ты мог многое передумать, многое понять и не осуждать меня. Выехать из Ленинграда я не могу и не хочу. Оставить город, который борется за свою жизнь и за жизнь страны, город, где я родилась, где прошла моя жизнь,— это значит для меня уйти в сторону от борьбы. Разве ты сам оставил бы добровольно наш мужественный Ленинград? Но ты и там, на Урале, бьешься на переднем крае обороны. Ты работаешь за двадцать, за тридцать человек. Ты выполняешь задание страны. Тебя знает весь народ. А мой долг — оставаться здесь до конца, как рядовому бойцу.

Я люблю тебя какой-то новой любовью... Самое трудное пройдено: блокада прорвана с Ладожского озера. Страна снабжает нас хлебом, оружием, техникой. Тысячи машин курсируют по льду озера, несмотря на вражескую бомбежку. Наши соколы очищают небо от немецких коршунов. Идут жестокие бои. И мы уверены, что блокада скоро будет прорвана окончательно.

Как я счастлива, что Игнаша воскрес! Старик наш хоть и ослабел, но когда узнал, что Игнаша жив, высоко поднял голову и сказал: «Не удивляюсь. Шароновы — удачливы, потому что смекалисты и никогда не теряются». Лаврик велит передать тебе, что он тоже герой Ленинграда. Всегда с тобой, твоя Лиза».

В этом письме — вся моя Лиза. Эта нежная строгость ее слов вызвала не огорчение, а стыд за себя и гордость за нее. Так именно она и должна была поступить.

В письмах из разных городов Союза рабочие и работницы, старики и юнцы требуют совета, дают обязательства, вызывают на соцсоревнование... В областной газете появились открытые письма известных фрезеровщиков, токарей и лекальщиков других заводов края. В этих письмах они дружески приветствуют меня и сообщают о своих победах и достижениях. Они выражают желание немедленно приступить к обмену опытом. «Нас много,— пишет один из них с явным задором,— и все мы добиваемся новых и новых рекордов. У нас уже целый ряд изобретений, и мы применяем такие приспособления, что тебе, товарищ Шаронов, увидеть и изучить их небесполезно. Мы с интересом следим за твоей работой. Надеемся, что и ты знаешь наши имена. Так давай, дорогой товарищ, поведем дальше на бой нашу молодежь. Поддержим наступление наших красных воинов и рядом

с ними еще крепче будем разить фашистскую сволочь борьбой на трудовом фронте».

Только в эти дни я почувствовал, как грозна сила ответственности. Мне было и страшновато и радостно. Но в то же время я ощущал себя богаче и сильнее, чем раньше. За эти полгода наш двуединый завод вместо двух-трех машин в сутки выпускает уже целые вереницы танков и самолетов. Мы рьяно ругаем себя на каждом производственном совещании, на каждой заводской конференции, и постороннему человеку могло бы показаться, что мы завязли в недостатках, что работаем мы плохо и вообще не умеем работать. Но на самом деле каждый день — это битва и новые достижения. И каждый рабочий, вплоть до подростка,— это боец, который рвется на линию огня. Война и здесь дышит в каждом уголке и родит героев.

Утром я побежал на завод. Еще издали он приветствовал меня своими огромными корпусами, высоченными трубами, выдыхающими черный дым, градирнями в облаках пара, и я остро и глубоко почувствовал невыразимую любовь к нему: ведь он — часть моего родного города, это мой дом, мой мир, моя боевая крепость. Ревели в вышине серебристые стаи самолетов, и откуда-то из недр завода доносился металлический рокот танков. И в этой музыке боевых машин гремела буря нашей ненависти, гнева и мести, наша сила и великая уверенность в победе.

У подъезда заводоуправления я встретил Петю. У него блестели глаза, и он смеялся от восторга.

— Понимаешь, как чудесно, что я тебя встретил, Коля! Только ты и нужен мне в эту минуту. Как быстро ты возвратился! Ну, как Игнаша? — И, не слушая моего ответа, он торопливо, перебивая самого себя, говорил: — У меня необычайное событие... Ну, как тут не поверишь в чудеса!.. Ты пойми, Колька!.. Моя Наташа... Я пришел к ней вчера, и она впервые кинулась ко мне на грудь и заплакала... «Петя, Петя, ты живой!.. Возьми меня отсюда, возьми сейчас же!..» А я не чувствую себя от потрясения. Понимаешь ли ты, что это значит?

— Я понимаю, Петя. Это — большое счастье. Я же говорил тебе, и это случилось... А моя Лиза остается в Ленинграде: для нее вся жизнь — там. Это — ее долг. Игнаша ослеп, но ему кажется, что он видит рассвет. Он

весь в мечте о солнце, о будущих полетах и радуется, как ребенок.

— Да, да, Коля, я это очень хорошо чувствую, я сам как ребенок.

Он быстро зашагал к проходной, размахивая руками, а я пошел в цех.

Вдали, на широкой площади между корпусами, крылатой серебряной толпой стояли самолеты. Их вывели из сборочного цеха и выстроили рядами для испытательных полетов. Эти машины неотразимы и сокрушительны. Немцы в страхе прозвали их «черной смертью». Да, эти страшные птицы поливают их «черной смертью» отовсюду — и из кабин, и из крыльев. В каждой из этих машин живая частица моей души, и мне чудилось, что они приветствуют меня издали и трепещут крыльями.

Из широченных ворот двух противоположных цехов с грохотом и лязгом выползали в переулок танки. Слева — средние, а справа — тяжелые. Все они голубые, глянцевые. Длинные стволы пушек грозно целились вперед, высовываясь из литых башен. На броне стояли танкисты и рабочие. Они что-то кричали друг другу и махали руками. Танки становились в ряды и загромождали переулок. Это родилась очередная сменная партия, готовая к бою. В этих машинах также воплотились мои искания и мои боевые победы. Здесь всюду дыхание войны: и грохот танков, судорожно рвущихся вперед, и трепет самолетов в небесах, и гулы завода... И я чувствовал, что я — такой же боец, как и эти танкисты и летчики, опаленные битвами.

Родная моя страна, мать моя! Вся моя жизнь, все мои помыслы принадлежат только тебе!..

В НАЧАЛЕ БОЛЬШОГО ПУТИ

Талантливые и глубокие книги прочитывает по-своему каждое новое поколение. Собственно, лишь при таком условии художественное произведение имеет свою живую судьбу, а не превращается в холодный литературный памятник.

Продолжает жить и «Цемент» Федора Гладкова, роман, написанный более пятидесяти лет назад, на самой заре советской литературы, в особенное и неповторимое время.

Праздничный, веселый, бесноватый,
С марсианской жаждою творить,
Вижу я, что небо небогато,
Но про землю стоит говорить.

Даже породниться с нею стоит,
Снова глину замешать огнем.
Каждое желание простое
Освятить неповторимым днем...

В этих прекрасных стихах молодого Николая Тихонова передано настроение нового революционного поколения, которое начинало жить словно бы сызнова. И силы были неизмеримыми, и просторы жизни необъятными.

Этим ароматом свежести, первозданности наполнен и роман Федора Гладкова.

...Федор Васильевич Гладков (1883—1958) принадлежит к старшему поколению советских писателей. Его жизненный опыт был и богат, и труден: скудное крестьянское детство, непосильная работа, скитания по всей стране — от Волги до Черного моря, от Кубани до Забайкалья. Он рано принял участие в революционном движении, не раз подвергался преследованиям. Рано стал писать — первый рассказ был опубликован, когда ему было семнадцать лет.

Годы Октябрьской революции и гражданской войны Гладков встретил и пережил на юге, по его словам, «в активной революционной работе, совсем оторванным от пера». Там, в начале 20-х годов, был собран им и материал для «Цемента» (1922—1924), книги, которая создала его литературную репутацию и получила вскоре мировую известность.

Жизнь человека Ф. Гладков всегда понимал как труд, как подвиг, в котором проявляется вся полнота его духовной сущности. С этой точки зрения и подходит писатель к «производственной теме». Среди книг Ф. Гладкова, непосредственно и сильно выражающих этот взгляд, кроме «Цемента» нужно назвать также известный роман «Энергия» (1932—1938) — о строительстве Днепрогэса и повесть «Клятва» (1944), включенную в настоящее издание. Достойно завершает творческий путь писателя автобиографическая трилогия — «Повесть о детстве», «Вольница», «Лихая година», над которой он работал в 1949—1954 годах.

Знаменитый «Цемент» — одна из лучших книг в литературном наследии Ф. В. Гладкова.

Естественно, что сейчас мы читаем роман не совсем теми глазами, какими читали его современники. Для нас давно стал нормой созидающий, творческий труд, а тогда восприятие труда и в жизни, и в романе поражало своей новизной, наполняло душу рабочего человека гордым и новым чувством — ощущением себя хозяином производства, созидателем жизни. «Крепкую радость строительства... бодрое, крепкое, захватывающее чувство: строим!» — вот что прежде всего почувствовали в романе его читатели 20-х годов [1].

Давно исчезли из советской литературы конфликты между интеллигентами старшего поколения — «спецами» — и пролетариями, ставящими на заводы своих «красных директоров». И само слово «спец» ушло из нашей жизни, а в «Цементе» с этим связана одна из острейших коллизий.

Для нас уже легендарными стали годы гражданской войны, а в «Цементе» еще явственно чувствуется обжигающее дыхание ее последних боев, еще ломаются человеческие судьбы в острых классовых столкновениях.

Многие старые проблемы давно решила жизнь и выдвинула новые, о которых и не думали герои Гладкова.

Чем же сегодня привлекает читателя «Цемент»? А тем же, чем в главном привлекал он и тогда, чем вообще привлекает большое искусство социалистического реализма, — правдой жизни, правдой о человеке, переделывающем мир, в котором он живет, и себя самого.

Эта тема — неисчерпаема. И среди произведений, посвященных труду, изменяющему облик мира и душу человека, роман Гладкова — один из самых первых. «Цемент» — книга-первооткрыватель. Главным в ней стало открытие внутреннего мира победившего пролетария, нового человека, который осваивает и творит новую жизнь. Перед художником и его героем вставали тогда немалые трудности (первым всегда труднее!), но зато как увлекательна и свежа была их работа, как велико было стремление все понять, во всем разобраться, дойти до сердцевины! И в романе восстановление цементного завода — лишь одно из обстоятельств, в которых происходит рождение нового мира и его людей.

С чувством огромного интереса к жизни, полный творческой силы возвращается Глеб Чумалов, коммунист, краснознаменец, во-

---

[1] Голос рабочего читателя. Современная художественная литература в свете массовой рабочей критики. Л., изд-во «Красная газета», 1929, с. 55—56.

енком полка, из Красной Армии домой, на разоренный завод. Этим мажорным запевом начинает свой роман Гладков.

Для автора «Цемента» рабочий класс, рабочий человек — это воплощение духовной широты, человеческого богатства, а не сектантской узости, кастовой исключительности, как нередко изображали его в крикливых декларациях тех лет иные литературные группы. Поэтому роман приобретает такое широкое общественное звучание, в этом причина идейной и художественной победы писателя.

У Гладкова Глеб Чумалов думает с увлечением: «...Вот оно — и горы, и море, и завод, и город, и дали, уходящие за горизонты,— вся Россия — мы... Разве наши руки не дрожат от предчувствия упорной работы? Разве сердце не рвется от напора крови?.. Это — рабочая Россия, это — мы, это — новая планета, о которой мечтало в веках человечество...» Силой этого гуманистического, трудового порыва и одухотворен роман. «Цемент» — не хроника восстановления завода, а лирический эпос.

«Цемент» был книгой сложных творческих исканий. Верно говорилось в критике — еще при первом выходе романа, — что он написан неровно, что возник он на скрещении многих увлечений и влияний (критики вспоминали имена и Достоевского, и Горького, и Гамсуна). В первых изданиях автор злоупотребляет диалектизмами (события происходят в Новороссийске, в тех местах Краснодарского края, которые были издавна хорошо знакомы Гладкову). Горький справедливо писал об этих излишествах: «Щегольство местными жаргонами, речениями — особенно неприятно и вредно именно теперь, когда вся поднятая на дыбы Русь должна хорошо слышать и понимать самое себя»[1].

Впоследствии от издания к изданию Гладков «чистил» язык, совершенствовал стиль романа.

Но нужно отметить, что в напряженном «косноязычии» иных его персонажей, в эмоциональной возбужденности книги писатель стремился передать неуспокоенность времени, «поднятого на дыбы», времени, которое энергично создавало еще невиданные формы бытия — личного и общественного.

В характерах главных героев книги — Глеба Чумалова, Даши, Поли Меховой, Клейста, Сергея Ивагина, Жука — столько переходов, столько трудных душевных переливов, что кажется: у них на наших глазах в муках возникает как бы новый духовный костяк — рождается иной человек.

Гуманизм романа — героический гуманизм, рожденный верой в силу духа и дела людей революции. Советская литература, как выражение социалистического мировоззрения, всегда делает ставку на Человека, на героический характер. И Гладков развивает в «Цементе» своеобразный тип сюжета: жизнь начинается там, где в нее вмешивается активное человеческое начало. Так в романе связаны общим узлом возвращение Глеба, «воскресшего мертвеца», и воскрешение завода. Несомненно, что такое понимание хода жизни было шагом вперед в художественном и социальном мышлении: в человеческой духовной инициативе видит писатель средство освобождения от власти тяжелого прошлого, от подчинения слежав-

---

[1] *Горький М.* Собр. соч. в 30-ти т., т. 29. М., ГИХЛ, 1955, с. 439.

шимся до каменной твердости привычкам, от всего стихийного порядка жизни.

Осторожный, скептический Клейст не верит в энтузиазм — это, по его словам, «как ливень; он непродолжителен и вреден». Глеб отвечает ему: энтузиазм «не ливень, а огонь... огонь души». Иначе он и не мог ответить. В убеждениях Глеба, в переживаниях многих других героев романа выразилось глубоко осознанное в те годы чувство могучей творческой силы народа, рабочего класса.

А. М. Горький высоко оценивал «Цемент» как «первую попытку поэтизации созидающего труда»[1]. Великому писателю особенно близок в книге был романтизм «людей, которые умеют встать выше действительности, смеют смотреть на нее как на сырой материал и создавать из плохого данного хорошее желаемое. Это — позиции истинного революционера, и это его права»[2].

Образом Чумалова Гладков вступил в полемику с довольно распространенным в те годы взглядом на революционера прежде всего как на разрушителя. Нет, ответила на это советская литература, истинный революционер — это гуманист и созидатель.

Известный критик А. К. Воронский, в те годы редактор журнала «Красная новь», где впервые был опубликован роман, также подчеркивал героическую и гуманистическую программность «Цемента». «Роман Гладкова, — писал он, — не свободен от излишней взвинченности, диалог местами искусственен, есть сюжетная незавершенность, есть просто лишние страницы, но все это покрывается революционной волей и хотением и такими нам близкими и родными типами, как Чумалов и Даша... Это хорошо, что в наших буднях писатель нашел романтику... мечтательный порыв в будущее, героизм в мелкой суматохе и волю побеждать»[3].

Переделка «сырого материала» жизни, творческая энергия, противопоставленная будничной рутине или стихийному ходу жизни, — это, пожалуй, главнейший из мотивов романа. И он воспринимается как антимещанский, антиобывательский мотив.

Закончилась гражданская война. Нет больше отчетливо выраженных фронтов, нет открытого противостояния сил. Многое теперь нужно осмыслить и уметь сделать по-новому, чтобы не стать жертвой «текучки», не погрязнуть в близорукой суете. Гладков показывает, что бывает героика прямого удара, схватки в коротком напряжении всех сил и чувств. Но времена меняются, и нужной становится другая героика — длительного и рассчитанного напряжения и выдержки, героика, которая проявляется не столько в ярких подвигах, сколько в ежедневных поступках, в ровном душевном горении.

Так жить оказывается много труднее и непривычнее. Мы сталкиваемся в романе и с разочарованными людьми. Поля Мехова говорит: «Забудете романтику боевых подвигов. Обмякнете и поблекнете». Другие персонажи романа — Бадьин, Шрамм, — напротив, находят себе в «буднях» прекрасную питательную почву: где косность и рутина, там и бюрократизм.

---

[1] М. Горький и советская печать. — Архив А. М. Горького, т. X, кн. 2. М., «Наука», 1965, с. 32.

[2] *Горький М.* Собр. соч. в 30-ти т., т. 29, с. 438—439.

[3] *Воронский А.* Литературные записи. М., 1926, с. 66.

«Цемент» борется с настроениями апатии, с тусклым и вялым восприятием переменившейся жизни. Он отвергает и самодовольный бюрократизм, подчинение жизни «букве» и «параграфу». Глеб Чумалов хорошо говорит: коммунисты должны быть не только точными исполнителями директив и предписаний, «но и самое главное... орудовать инициативой и творчеством».

Глеб и Бадьин интуитивно невзлюбили друг друга «с первого взгляда». И это объяснимо. Они люди разного типа. Бадьин — воплощение бытовой, бездуховной, потребительской стороны жизни (властная, алчная натура, сладострастник и вельможа). Безэмоциональной тенью его является Шрамм — исполнитель, образцовый бюрократ, спокойный и полный веры в «санкцию», истукан, способный «умереть за свой аппарат».

Бюрократизму противопоставлена революционная вера в «инициативу и творчество», вязкой власти обывательщины — идея объединяющего созидания. Глеб понимает, что людям нужно большое дело, творчество, а не только забота о брюхе. «Пока не задымят трубы, — горячо убеждает Глеб, — мужик будет бандитом, а рабочий — босяком».

Для тех лет это большая и острая проблема. «Разбросанные по своим домашним норам, забывшие завод... гонимые голодом и первобытной алчбой», люди попадают во власть старых и устойчивых, затронутых, но еще не разрушенных революцией механизмов существования, во власть «быта». И лишь завод, работа могут объединить людей, вывести их из «нор». Поэтому «быт» в литературе тех лет почти всегда рассматривается как начало асоциальное, реакционное: «Чтобы жить не в жертву дома дырам», — писал тогда В. Маяковский. («Про это», 1922—1923). И для героев Гладкова возвращение человека в семью, в «частную» жизнь, к личному хозяйству тоже воспринимается как возврат к старому, как «разруха души» и отступление революции.

В годы нэпа вместо прежнего открытого классового врага появляется новый, скрытый: соблазны сладкой жизни, торгашества, приобретательства. Поэтому «сладость свиных закут», «радость теплых нор» отвергаются Глебом, Дашей, многими иными героями романа с какой-то свирепой решительностью, со всякими «левацкими» перегибами, порой приводящими к беде (умирает Нюрочка, дочь Глеба и Даши, отданная «при живых родителях» в детский дом: так Даша боролась с «бытом», решала ложную, но непростую альтернативу — «мать» или «революционерка»).

Трудно складываются взаимоотношения Глеба и Даши: они учатся понимать друг друга, открывают в себе то, чего никогда не видели и не искали раньше. Многое в этих отношениях еще неуклюже, угловато (ведь все впервые!). Но из этой вздыбленной «личной жизни» и возникает новая культура быта, подразумевающая высокую духовность этой личной, «частной» жизни. Человек в своем «интимном», «домашнем» не должен отрываться от большой жизни. «Частное», оно и есть частное, частичное; и свое — отдельное — становится полным, только отразив в себе целое, воссоединяясь с целым. Лишь тогда становится возможной новая личность. Муки и радости рождения нового, свободного и душевно глубокого человека — вот что показывает Гладков во взаимоотношениях Глеба и Даши. Во внешней парадоксальности и изломах поведения Даши, в размашистых словах и жестах Глеба мы ощущаем их потреб-

ность и в чуткости, и в понимании, и в любви, причем более тонкой и одухотворенной, чем когда-либо.

Гладков не скрывает: новая семья складывается тяжело. Может быть, и неверно было полностью отказываться здесь от «старого», разрушать те формы, которые тысячелетиями были источником жизни и средством ее продолжения. Происходящий в конце концов разрыв Глеба и Даши, смерть их дочери воспринимаются как символ, может быть и не предусмотренный писателем. Но это — правда искусства, и она нередко бывает умнее и глубже прямолинейной тенденции. Да и сами герои в конце романа с явной симпатией, если не с завистью, смотрят на свою многодетную соседку Мотю, написанную Гладковым тепло и сильно, с фламандской щедростью красок.

И еще над одной фигурой не может не задуматься читатель «Цемента»: без нее картина жизни будет не столь многомерной. Это инженер Герман Германович Клейст. Фигура Клейста вызывает к себе уважение. Он — тоже строитель, он создал завод, вокруг которого и вяжутся все нити сюжета, но он оказался и пленником этого завода. Клейст несет в себе тоску об угасании буржуазной культуры. Эта скорбь имеет у него в начале романа вселенский характер. Клейст мыслит техническими категориями — для него мир сводим к формуле, смысл жизни — к механической работе завода. Вне этой работы все ему кажется «далеким и чуждым». Инженер Клейст — один из лучших людей старого мира, но он и жертва его. Сначала Клейст не верит в Чумаловых: «Культуру какого мира несет в себе Чумалов?» Богатства народной жизни, творческие потенции людей труда он начинает видеть лишь после многих тяжелых переоценок и постепенно освобождается от глубоко ошибочной мысли о непримиримой разобщенности культур.

В романе процесс пересмотра Клейстом своих убеждений кажется несколько уторопленным, но сам по себе он неизбежен для умного и честного, уважающего труд человека. Любовь к заводу, любование мощью коллективного труда в конце концов сближают Клейста с Глебом.

Гладков увлеченно рисует объемный и яркий мир, создает многоликую картину жизни. Ему важны и Глеб, и Клейст, и бичующий себя интеллигент Сергей Ивагин, и его стоик-отец с цитатами из Марка Аврелия, и Бадьин, к которому он присматривается со сложным, неприязненным чувством, и волевая Даша, и экспансивная Поля...

В романе нет всеведающего резонера: все герои учат друг друга. И их всех учит жизнь — безжалостно и круто. К концу романа (с сюжетом оптимистическим, победоносным!) ни на ком из героев нет, как говорится, живого места. Все они переносят огромные перегрузки. Таким было время.

Вспомним еще раз Тихонова тех лет:

Жизнь учила веслом и винтовкой,
крепким ветром по плечам моим
узловатой хлестала веревкой,
чтобы был я веселым и ловким,
как железные гвозди простым...

А «узлов» в романе, как мы видим, действительно много.

Когда появился роман Гладкова, почти вся большая литера-

тура советской эпохи была еще впереди. Но и через десятилетия, далеко уйдя от «Цемента», наша литература не забыла его.

Через двадцать лет, в годы Великой Отечественной войны, известный писатель Федор Васильевич Гладков пишет повесть «Клятва».

Оказавшись на Урале, в качестве корреспондента «Правды» и «Известий», Гладков близко наблюдал картину, в чем-то схожую с историей завода в «Цементе». Многие заводы, в труднейших условиях эвакуированные из западных областей страны, разворачивали производство и давали фронту столь необходимую военную продукцию. И тут люди работали на пределе сил, брали на себя величайшие нагрузки — и трудовые, и душевные. Тем и победили!

Повесть «Клятва» по форме представляет собой записки фрезеровщика Николая Шаронова, передового ленинградского рабочего. В его «записках» — и трудная дорога на Восток, кровавая бомбежка, и сверхнапряжение труда, семнадцать норм, выполненных за один рабочий день, и пожар на заводе, и поимка диверсанта...

Структура гладковской прозы по-прежнему драматична и действенна. Писатель не допускает сюжета спокойного, безмускульного. И война этого не допускала.

В самом характере Шаронова, «неистовом, порывистом, яростном», многое от Глеба Чумалова. Это его прямой потомок в литературе. Вместе с тем повесть все же не оставляет такого яркого впечатления, может быть, потому, что интонация самого повествования от первого лица — слишком спокойная, слишком рассудительная, резонерская; стиль записок — ровный, приглаженный. Это как раз на Глеба Чумалова совсем непохоже.

В повести, однако, правдиво передан дух военного времени, чувствуется искренняя любовь писателя к русскому рабочему человеку, уважение к его золотым рукам, к его ищущей мысли; привлекает в ней и та атмосфера душевного сближения между советскими людьми, которая особенно почувствовалась в годы войны. «Теперь людям надо быть теснее», — говорит уральский сталевар Тихон Васильевич, в доме которого живет Николай Шаронов.

В этой живой и неиссякающей потребности единства людей труда мы тоже видим продолжение нравственной программы «Цемента» — книги, которая первой утвердила и сохраняет имя Федора Гладкова в большой истории советской литературы.

В. Акимов

СОДЕРЖАНИЕ

ФЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ ГЛАДКОВ
ЦЕМЕНТ. КЛЯТВА

Редактор **М. И. Белоусова.** Художник **О. И. Маслаков.** Художественный редактор **И. З. Семенцов.** Технический редактор **Л. П. Никитина.** Корректор **Л. В. Берендюкова**

Сдано в набор 18/II 1976 г. Подписано к печати 4/VIII 1976 г. Формат 84×108 1/32. Бум. тип. № 1 (типографская опытная Жидачевского ЦКБ). Усл. печ. л. 20,16+вкл. Уч.-изд. л. 21,12+0,04= =21,16. Тираж 100 000 экз. Заказ № 539. Цена 84 коп.

Лениздат, 191023, Ленинград, Фонтанка, 59. Ордена Трудового Красного Знамени типография им. Володарского Лениздата, 191023, Ленинград, Фонтанка, 57.